

ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ

Василий ГРОССМАН

33999



НАРОД БЕССМЕРТЕН

Издательство «Правда»

1945

Василий ГРОССМАН

НАРОД
БЕССМЕРТЕН

Повесть

Издательство «Правда»
1945

Л е т н и м в е ч е р о м 1941 г о д а п о д о р о г е к Г о м е л ю ш л а т я ж е л а я а р т и л л е р и я . П у ш к и б ы л и т а к в е л и к и , ч т о м н о г о о п ы т н ы е , в с е в и д е в ш и е о б о з н ы е с ы н т е р е с о м п о г л я д ы в а л и н а к о л о с с а л ь н ы е с т а л ь н ы е с т в о л ы . П ы л ь в и с е л а в в е ч е р н е м в о з д у х е , л и ц а и о д е ж д а а р т и л л е р и с т о в б ы л и с е р ы , г л а з а в о с п а л е н ы . Л и ш ь н е м н о г и е ш л и п е ш к о м , б о л ь ш и н с т в о с и д е л о н а о р у д и я х . О д и н и з б о й ц о в п и л в о д у и з с в о е г о с т а л ь н о г о ш л е м а , к а п л и с т е к а л и п о е г о п о д б о р о д к у , у в л а ж н е н н ы е з у б ы б л е с т е л и . К а з а л о с ь , ч т о н о м е р а р т и л л е р и й с к о г о р а с ч е т а с м е е т с я , н о о н н е с м е я л с я — л и ц о e г o б ы л о з а д у м ч и в о и у т о м л е н о . « В о з д у х ! » — п р о т я ж н о к р и к н у л ш е д ш и й в п е р е д и л е й т е н а н т .

Над дубовым леском в сторону дороги быстро шли два самолета. Люди тревожно следили за их полетом и переговаривались:

— Это наш!

— Нет, немец.

И, как всегда в таких случаях, была произнесена фронтовая острова:

— Наш, наш, где моя каска!

Самолеты шли наперерез дороги, и это значило, что они наши: немецкие машины обычно, завидя колонну, разворачивались на курс, параллельный дороге.

Мощные тягачи волокли орудия по деревенской улице.

Среди белых мазаных хаток, маленьких деревенских палисадников, засаженных курчавым золотым шаром и красным, горящим в лучах захода, пионом, среди сидящих на завалинках женщин и белобородых стариков, среди мычания коров и пестрого собачьего лая, странно и необычно выглядели огромные пушки, плывущие по мирной вечерней деревне.

Возле небольшого мостика, стонавшего от страшной, непривычной ему тяжести, стояла легковая машина, переживавшая, пока пройдут пушки. Шофер, привыкший, очевидно, к такого рода остановкам, с улыбкой оглядывал пьющего из каски бойца. Сидевший рядом с ним батальонный комиссар то и дело смотрел вперед — виден ли хвост колонны.

— Товарищ Богарев, — сказал шофер с украинским выговором, — может, поночуем здесь, а то стемнеет скоро.

Батальонный комиссар покачал головой.

— Надо спешить, — сказал он, — мне необходимо быть в штабе.

— Все равно ночью не проедем по этим дорогам, в лесу лочевать будем, — сказал шофер.

Батальонный комиссар рассмеялся.

— Что, молока захотелось?

— Ну, и что же, ясное дело выпить молока, картошки бы жареной поели.

— А то и гусятины, — сказал батальонный комиссар.

— А хiba ж нет? — с веселым энтузиазмом сказал шофер.

— Через три часа мы должны быть в штабе, какие бы ни были дороги и как бы ни было темно.

Вскоре машина выехала на мост. За ней побежали белоголовые ребятишки.

— Дядьки, дядьки, — кричали они, — возьмите огурцов, возьмите помидоров, возьмите грушек, — и они бро-

сали в полуспущенное окно автомобиля огурцы и твердые, недозрелые груши.

Богарев помахал ребятам рукой и почувствовал, что холодок волнения проходит по его груди. Он не мог без одновременно горького и сладкого чувства видеть, как провожали крестьянские ребятишки отступающую Красную Армию.

Сергей Александрович Богарев до войны был профессором по кафедре марксизма-ленинизма в одном из московских вузов. Исследовательская работа увлекала его, он старался поменьше уделять часов чтению лекций; главный интерес Богарева был в исследовании, начатом им года два тому назад. Приходя с работы домой и садясь ужинать, он вытаскивал из портфеля рукопись и читал ее. Жена расспрашивала его, по вкусу ли ему еда, достаточно ли послена яичница, он отвечал ей невпопад; она сердилась и смеялась, а он говорил ей: «Знаешь, Лиза, я сегодня испытал подлинное наслаждение — читал несколько писем Маркса, адресованных Лафаргу, их лишь недавно откопали в одном старом архиве». Она слушала, увлекаясь невольно его увлечением и волнением. Она любила его и гордилась им — знала, как уважают его товарищи и с каким восхищением говорят о прозрачной цельности и чистоте его натуры.

И вот Сергей Александрович Богарев — заместитель начальника отдела Политуправления фронта по работе среди войск противника. Иногда ему вспоминаются прохладные залы институтского хранилища рукописей, стол, заваленный бумагами, лампа под абажуром, поскрипывание колесиков подвижной лестницы, которую передвигает заведующая библиотекой от одной книжной полки к другой. Иногда в мозгу его всплывают отдельные фразы из недописанной им работы, и он задумывается над вопросами, так живо и горячо волновавшими его.

Машина бежит по фронтовой дороге. Пыль темная, кир-

пичная, пыль желтая, мелкая серая пыль, — от нее лица кажутся мертвыми, тучи пыли стоят над фронтовыми дорогами. Эту пыль поднимают сотни тысяч красноармейских сапог, колеса грузовиков, гусеницы танков, тягачи, орудия, маленькне копытца — овец, свиней, табуны колхозных лошадей, огромные стада коров, колхозные тракторы, скрипящие подводы беженцев, лапти колхозных бригадиров и туфельки девушек, уходящих из Бобруйска, Мозыря, Жлобина, Шепетовки, Бердичева. Пыль стоит над Украиной и Белоруссией, пыль клубится над советской землей. Ночью темное августовское небо багровеет злым румянцем деревенских пожаров. Тяжкий гул разрывов авиабомб прокатывается по темным дубовым и сосновым лесам, по трепетному осиннику, зеленые и красные трассирующие пули прошивают тяжелый бархат неба, как белые искры, вспыхивают разрывы зенитных снарядов, нудно гудят в высоком мраке «Хейнкели», груженные фугасными бомбами, кажется, звук их моторов говорит: «ве-з-зу, ве-з-зу». Старики, старухи, дети в деревнях, хуторах, провожая отступающих бойцов, говорят им: «Молочка выпейте, голубчики... Съешь творожку, пирожок возьми, сынок... Огурчиков на дорогу». Плачут, плачут старушечьи глаза, ищут среди тысяч пыльных, суровых, утомленных лиц лицо сына. И протягивают старухи белые узелки с гостинцами, просят: «Бери, бери, голубчик, все вы в моем сердце, как дети родные».

Немецкие полчища двигались с запада. На германских танках нарисованы черепа с перекрещенными костями, зеленые и красные драконы, волчьи пасти и лисьи хвосты, рогатые олени головы. Каждый немецкий солдат несет в кармане фотографии побежденного Парижа, разрушенной Варшавы, опозоренного Вердена, сожженного Белграда, захваченного Брюсселя и Амстердама, Осло и Нарвика, Афин и Гдыни. В каждом офицерском бумажнике — фотографии немецких девиц и женщин с чолками и локо-

нами, в полосатых пижамных штанах, на каждом офицере амулеты — золотые побрякушки, ниточки кораллов, набивные чучелки с желтыми бисерными глазками. У каждого в кармане русско-германский военный разговорник с простыми фразами: «Руки вверх», «Стой, ни с места», «Где оружие?», «Сдавайся». Каждый немецкий солдат заучил: «Млеко», «Клеб», «Яйки», «Коко», «дз-дз» и слово «Давай, давай». Они шли с запада.

И десятки миллионов людей поднимались навстречу им со светлой Оки и широкой Волги, с суровой желтой Камы и пенящегося Иртыша, из степей Казахстана, из Донбасса и Керчи, из Астрахани и Воронежа. Народ поднимал оборону, десятки миллионов верных рабочих рук копали противотанковые рвы, окопы, блиндажи, ямы; шумные рощи и леса ложились молча тысячами своих стволов поперек шоссе́йных дорог и тихих проселков, колючая проволока оплетала заводские и фабричные дворы, железо обращалось противотанковыми ежами на площадях и улицах наших милых зеленых городков.

Богарев иногда удивлялся легкости, с какой сумел он внезапно, в течение нескольких часов, отрезать прежнюю свою жизнь; он радовался тому, что сохранял рассудительность в тяжелых положениях, умел действовать решительно и быстро. И, самое главное, он видел, что и здесь, на войне, он сохранил себя и свой внутренний мир и люди верят ему, уважают его и чувствуют его внутреннюю силу. Он часто говорил себе: «Нет, нет, недаром занимался я марксистской философией, революционная диалектика была для меня доброй строевой подготовкой к этой войне, в которой крахнули старейшие культуры Европы». Однако он не был удовлетворен своей работой, ему казалось, что он недостаточно близко стоит к красноармейцам, к стержню войны, и ему хотелось из Политуправления перейти к непосредственной боевой работе.

Часто приходилось ему допрашивать немецких плен-ных, — большей частью это были ефрейторы и унтер-офицеры. Он замечал, что чувство ненависти к фашизму, томившее его днем и ночью при допросах, сменялось презрением и брезгливостью. В большинстве пленные вели себя трусливо. Быстро и охотно называли они номера частей, вооружение, уверяли, что они рабочие, сочувствовавшие коммунизму, сидевшие некогда в тюрьме за революционные идеи, и все в один голос говорили: «Гитлер капут, капут», хотя было совершенно очевидно, что они внутренне уверены в обратном.

Лишь изредка встречались ему фашисты, находившие мужество в плену заявлять о своей преданности Гитлеру, о своей вере в главенство германской расы, призванной поработить народы мира. Богарев обычно подробно расспрашивал их, — они ничего не читали, даже фашистских брошюр и романов, не слышали не только о Гёте и Бетховене, но и о таких столпах германской государственности, как Бисмарк, либо о знаменитых среди военных именах Мольтке, Фридриха Великого, Шлиффена. Они знали лишь фамилию секретаря своей районной организации национал-социалистской партии. Богарев внимательно изучал приказы германского командования, он отмечал в них необычайную способность к организации: немцы организовано и методически грабили, выжигали, бомбили, немцы умели организовать сбор пустых консервных банок на военных биваках, умели разработать план сложного движения огромной колонны с учетом тысяч деталей и пунктуально, с математической точностью, выполнять эти детали. В их способности механически подчиняться, бездумно маршировать, в сложном и огромном движении скованных дисциплиной миллионных солдатских масс было нечто неизменно, не свойственное свободному разуму человека. Это была не культура разума, а цивилизация ин-

стинктов, нечто идущее от организованности муравьев и стадных животных.

За все время Богареву среди огромных масс германских писем и документов попало только два письма: одно — от молодой женщины к солдату, другое — не отправленное солдатом домой, где он увидел мысль, лишённую автоматизма, чувство, свободное от тупой мещанской низменности, письма, полные стыда и горечи за преступления, творимые германским народом. Однажды ему пришлось допрашивать пожилого офицера, в прошлом преподавателя литературы, и этот человек тоже оказался мыслящим и искренно ненавидящим гитлеризм.

— Гитлер, — сказал он Богареву, — не создатель народных ценностей, он захватчик. Он захватил трудолюбие, промышленную культуру германского народа, как невежественный бандит, угнавший великолепный автомобиль, построенный доктором технических наук.

«Никогда, никогда, — думал Богарев, — им не победить нашей страны. Чем точнее их расчеты в мелочах и деталях, чем арифметичней их движения, тем полней их беспомощность в понимании главного, тем злей ждущая их катастрофа. Они планируют мелочи и детали, но они мыслят в двух измерениях. Законы исторического движения в начатой ими войне не познаны и не могут быть ими познаны, людьми инстинктов и низшей целесообразности».

Машина его бежала среди прохлады темных лесов, по мостикам над извилистыми речушками, по туманным долинам, мимо тихих прудов, отражавших звездное пламя огромного августовского неба. Шофер негромко сказал:

— Товарищ батальонный комиссар, помните, там боец из каски пил, тот, что на орудии сидел. И вот чувство мне такое пришло — наверное брат мой; теперь понял я, отчего он меня так заинтересовал!

Дивизионный комиссар Чередниченко перед заседанием Военного Совета ходил по парку. Он шел медленно, останавливаясь, чтобы набить табаком свою короткую трубку. Пройдя мимо старинного дворца с высокой мрачной башней и остановившимися часами, он спустился к пруду. Над прудом свешивались зеленые пышные космы ветвей. Утреннее солнце ярко освещало плававших в пруду лебедей. Казалось, что движения лебедей так медленны и шею их так напряжены оттого, что темнозеленая вода густа, туга и ее невозможно преодолеть. Чередниченко остановился и, задумавшись, смотрел на белых птиц. Влажный песок скрипел под его сапогами. Мимо, по аллее со стороны узла связи шел немолодой майор с темной бородкой. Чередниченко знал его — он работал в оперативном отделе и два раза два докладывал дивизионному комиссару обстановку. Поравнявшись с дивизионным комиссаром, майор громко сказал:

— Разрешите обратиться, товарищ член Военного Совета.

— Давайте, давайте, обращайтесь, — сказал Чередниченко, следя, как лебеди, потревоженные громким голосом майора, отплывали к противоположному берегу пруда.

— Только что получено донесение от командира семьдесят второй эс-де.

— Это от Макарова, что ли?

— Так точно, от Макарова. Сведения весьма важные, товарищ член Военного Совета: вчера около двадцати трех противник начал движение крупными массами танков и мотопехоты. Пленные показали, что они принадлежат к трем различным дивизиям танковой армии Гудериана и что направление движения им было дано на Увечу — Новоград-Северск.

Майор поглядел на лебедей и сказал:

— Танковые дивизии, показывают пленные, не полного комплекта.

— Так, — сказал Чередниченко, — я об этом знал ночью.

Майор пытливо поглядел на его морщинистое лицо с большими узкими глазами. Цвет глаз у дивизионного комиссара был гораздо светлее, чем темная кожа лица, издававшая ветры и морозы русско-германской войны 1914 года и степные походы гражданской войны. Лицо дивизионного комиссара казалось спокойным и задумчивым.

— Разрешите итти, товарищ член Военного Совета? — спросил майор.

— Доложите последнюю оперсводку с центрального участка.

— Оперсводка с данными на четыре ноль ноль.

— Ну, уж и ноль ноль, — сказал Чередниченко, — а может быть, на три часа пятьдесят семь минут.

— Возможно, товарищ член Военного Совета, — улыбнулся майор. — В ней ничего особенного нет. На остальных участках противник особой активности не проявлял. Лишь западнее переправы он занял деревню Марчихина Буда, понеся при этом потери до полутора батальонов.

— Какая деревня? — спросил Чередниченко и повернулся к майору.

— Марчихина Буда, товарищ член Военного Совета.

— Точно? — строго и громко спросил Чередниченко.

— Совершенно точно.

Майор на мгновение задержался и, улыбнувшись, сказал виноватым голосом:

— Красивые лебеди, товарищ член Военного Совета. Их князь Паскевич-Эриванский водил, как мы гусей в де-

ревне заводили. А вчера двух убило во время налета, птенцы остались.

Чередниченко снова раскурил трубку, выпустил облако дыма.

— Разрешите?

Чередниченко кивнул. Майор пристукнул каблуками и пошел в сторону штаба, мимо стоявшего у старого клена порученца Чередниченко. Дивизионный комиссар долго стоял, глядя на лебедей, на яркие пятна света, лежавшие на зеленой поверхности пруда. Потом он сказал низким сиплым голосом:

— Что ж, мамо, что ж, Леня, увидимся ли с вами? — и закашлял солдатским, трудным кашлем.

Когда он возвращался своей обычной медленной походкой к дворцу, поджидавший его порученец спросил:

— Товарищ дивизионный комиссар, прикажете отправить машину за вашей матерью и сыном?

— Нет, — коротко сказал Чередниченко и, поглядев на удивленное лицо порученца, добавил. — Сегодня ночью Марчихина Буда занята немцем.

Военный Совет заседал в высоком сводчатом зале с портьерами на длинных и узких окнах. В полусумраке красная скатерть с кистями, лежавшая на столе, казалась черной. Минут за пятнадцать до начала дежурный секретарь бесшумно прошел по ковру и шопотом сказал порученцу:

— Мурзихин, яблоки командующему принесли?

Порученец скороговоркой ответил:

— Я велел, как всегда, и нарзан и «Северную Пальму» миру», да вот уже несут.

В комнату вошел посыльный с тарелкой зеленых яблок и несколькими бутылками нарзана.

— Поставьте вот на тот маленький стол, — сказал секретарь.

— Та хйба ж я не знаю, товарищ батальонный комиссар

сар, — сказал посыльный. Через несколько минут в зал вошел начальник штаба, генерал с недовольным и усталым лицом. Следом за ним шел полковник, начальник оперативного отдела, держа сверток карт. Полковник был худ, высок и краснолиц, генерал, наоборот, полный и бледный, но они почему-то очень походили один на другого. Генерал спросил у вытянувшегося порученца:

— Где командующий?

— На прямом проводе, товарищ генерал-майор.

— Связь есть?

— Минут двадцать, как восстановили.

— Вот видите, Петр Ефимович, — сказал начальник штаба, — а ваш хваленый Стемехель обещал лишь к полдню.

— Что же, тем лучше, Илья Иванович, — ответил полковник и с принятой в таких случаях строгостью подчиненного добавил: — Когда вы спать ляжете? Не спите ведь уже третью ночь.

— Ну, знаете, обстановка такая, что не о сне думать, — сказал начальник штаба и, подойдя к маленькому столу, взял яблоко. Полковник, расстеливший карты на большом столе, тоже протянул руку за яблоком. Порученец, стоявший навытяжку, и стоявший у библиотечного шкафа секретарь, улыбаясь, переглянулись.

— Да вот оно, это самое, — сказал начальник штаба, наклоняясь над картой и разглядывая толстую синюю стрелу, обозначающую направление движения германской танковой колонны в глубину красного полукружия нашей обороны. Он, прищурившись, всматривался в карту, потом надкусил яблоко и, сморщившись, сказал:

— Чорт, что за возмутительная кислятина.

Полковник тоже надкусил яблоко и поспешно проговорил:

— Да, доложу я вам, чистый уксус. — Он сердито спро-

сил у порученца: — Неужели для Военного Совета нельзя лучших яблок достать? Безобразия!

Начальник штаба рассмеялся.

— О вкусах не спорят, Петр Ефимович. Это специальный заказ командующего, он любитель кислых яблок.

Они наклонились над столом и негромко заговорили между собой. Полковник сказал:

— Угроза ведь главной коммуникационной линии, явно расшифровывается цель движения, вы только посмотрите, ведь это обхват левого фланга.

— Ну, уж и обхват, — сказал генерал, — скажем, потенциальная угроза обхвата. — Они положили надкусанные яблоки на стол и одновременно распрямились: в зал вошел командующий фронтом Еремин — высокий, сухощавый, с седеющей, коротко стриженной головой. Он вошел, громко стуча сапогами, шагая не по ковру, как все, а по скрипящему начищенному паркету.

— Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, — сказал он. Оглядев начальника штаба, он сказал: — Что это у вас такой вид утомленный, Илья Иванович?

Начальник штаба, обычно называвший командующего по имени и отчеству — Виктором Андреевичем, сейчас, перед важным заседанием Военного Совета, громко ответил:

— Чувствую себя превосходно, товарищ генерал-лейтенант, — и спросил: — Разрешите доложить обстановку?

— Что ж, вот и дивизионный комиссар идет, — сказал командующий.

В зал вошел Чередниченко, молча кивнул и сел на крайний стул в углу стола.

— Минуточку, — сказал командующий и распахнул окно. — Я ведь просил раскрывать окна, — строго сказал он секретарю.

Обстановка, которую докладывал начальник штаба, была не легкой. Дело относилось к тому периоду войны,

когда пробивные клинья немецко-фашистской армии били во фланги наших частей, угрожая им окружением. Части наши отходили к новым рубежам. На каждой речной переправе, на каждом холмистом рубеже шли долгие кровавые бои. Но враг наступал, а мы отступали. Враг занимал города и обширные земли. Каждый день фашистское радио и газеты сообщали о новых и новых победах. Фашистская пропаганда торжествовала. Были и у нас люди, видевшие лишь вещи, казавшиеся им неопровержимыми: немцы шли вперед, советские войска отступали. И эти люди были подавлены, не ждали хорошего впереди. В «Фелькишер беобахтер» печатались огромные шапки, набранные красными буквами, в фашистских клубах произносились радостные речи, жены ждали своих мужей домой, казалось, речь идет о днях и неделях.

Докладчик, и его помощник полковник, и секретарь, и командующий, и дивизионный комиссар — все видели синюю стрелу, направленную в тело Советской страны. Полковнику она казалась страшной, стремительной, не ведающей усталости в своем движении по разлинованной бумаге. Командующий знал больше других о резервных дивизиях и полках, о находящихся в глубоком тылу соединениях, идущих с востока на запад, он прекрасно чувствовал рубежи боев, он физически ощущал складки местности, шаткость понтонов, наведенных немцами, глубину быстрых речушек, зыбкость болот, где он встретит германские танки. Для него война происходила не только на квадратах карты. Он воевал на русской земле, на земле с дремучими лесами, с утренними туманами, с неверным светом в сумерках, с густой не выбранной коноплей, с высокими хлебами, скирдами, овинами, с деревушками на обрывистых берегах рек, с оврагами, заросшими кустарником. Он чувствовал протяженность сельских большаков и извилистых проселков, он ощущал пыль, ветры, дожди, взорванные полустанки, разрушенные пути на разъездах.

И синяя стрела не пугала и не волновала его. Он был хладнокровный генерал, любивший и знавший свою землю, умевший и любивший воевать. Ему хотелось одного — наступления. Но он отступал, и это мучило его.

Его начальник штаба, профессор Академии, обладал всеми достоинствами ученого военного, знатока тактических приемов и стратегических решений. Начальник штаба был богат опытом военно-исторической науки и любил находить черты сходства и различия в тех операциях, которые проводили армии, с другими сражениями XX и XIX веков. Он обладал умом живым и не склонным к догме. Он высоко оценивал способность германского генералитета к маневру, подвижность фашистской пехоты и умение их авиации взаимодействовать с наземными войсками. Как-то ночью ему снилось, что он экзаменовал в своем штабном кабинете знаменитого Гамелена и топал на него ногами за непонимание особенности маневренной войны. Его удручало отступление наших армий, синяя стрела, казалось ему, была направлена в его собственное сердце русского военного.

Начальник оперативного отдела штаба мыслил категориями военной топографии. Для него единственной реальностью являлись квадраты двухкилометровки, и он всегда точно помнил, сколько листов карты были сменены на его столах, какие дефиле прочерчены синим и красным карандашом. Война, казалось ему, шла на картах, ее вели штабы. Синие стрелы движения германских моторизованных колонн, выходявшие на флангах советских армий, казалось ему, двигались по математическим законам масштабов и скоростей. В этом движении он не видел иных закономерностей, кроме геометрических.

Самым спокойным человеком был молчаливый дивизионный комиссар Чередниченко. «Солдатский Кутузов», — прозвали его. В самые раскаленные часы боев вокруг этого неторопливого, медленного человека с за-

думчивым, немного грустным лицом создавалась атмосфера необычайного спокойствия. Его насмешливые лаконичные реплики, его острые, крепкие словца часто повторялись и вспоминались. Все хорошо знали его широкоплечую, коренастую фигуру, он часто прогуливался медленно, задумчиво попыхивал трубкой, либо сидел на скамейке и, немного нахмутив лоб, думал, и всякому командиру и бойцу становилось весело и хорошо на душе, когда видели они этого скуластого человека с прищуренными глазами и нахмуренным лбом, с короткой трубкой во рту.

Во время доклада начальника штаба Чередниченко сидел, опустив голову, и нельзя было понять, слушает он внимательно или задумался. Лишь однажды он встал, подошел к начальнику штаба, посмотрел на карту.

После доклада командующий начал задавать вопросы генералу и полковнику и поглядывал на дивизионного комиссара, ожидая, когда он примет участие в обсуждении. Полковник каждый раз вынимал из кармана гимнастерки вечную ручку, пробовал перо на ладони, затем снова прятал ручку, а через мгновение вновь вынимал ее, пробовал острие на ладони. Чередниченко наблюдал за ним. Командующий прохаживался по залу, и паркет скрипел под его тяжелыми шагами. Лицо Еремина хмурилось, движение немецких танков шло в обход левого фланга одной из его армий.

— Слушай, Виктор Андреевич, — неожиданно сказал дивизионный комиссар, — ты привык с детства к зеленым яблокам, что из соседних садов таскал, так до сих пор этой привычки держишься, а люди, видишь, из-за тебя страдают.

Все поглядели на лежащие рядом надкусанные яблоки и рассмеялись.

— Надо не только зеленые ставить, действительно конфуз, — сказал Еремин.

— Есть, товарищ генерал-лейтенант, — улыбаясь, произнес секретарь.

— Что же тут, — произнес Чередниченко и, подойдя к карте, спросил начальника штаба: — Вы на этом рубеже предлагаете закрепиться?

— На этом, товарищ дивизионный комиссар, Виктор Андреевич полагает, здесь мы сумеем очень активно и с наибольшим эффектом применить средства нашей обороны.

— Это-то верно, — сказал командующий, — тут начальник штаба предлагает для лучшего проведения маневра произвести контратаку в районе Марчихиной Буды, вернуть это село. Как ты думаешь, дивизионный?

— Вернуть Марчихину Буду? — переспросил Чередниченко, и в голосе его было нечто, заставившее всех поглядеть на него. Он раскурил потухшую трубку, выпустил клуб дыма, махнул по этому дыму рукой и долго молча глядел на карту.

— Нет, я против, — проговорил он и, водя мундштуком трубки по карте, стал объяснять, почему он считает эту операцию нецелесообразной.

Командующий продиктовал приказ об усилении войск левого фланга и перегруппировке армейской группы Самарина. Он приказывал двинуть навстречу германским танкам одну из имевшихся в его резерве стрелковых частей.

— Ох, и хорошего комиссара им дам, — сказал Чередниченко, подписывая вслед за командующим приказ.

В это время гулко прокатился разрыв авнабомбы, тотчас за ним второй. Послышалась размеренная пальба малокалиберных зениток и тихий, ноющий звук моторов германских бомбардировщиков. Никто из находившихся в зале не повернул головы в сторону окон. Только начальник штаба сердито сказал полковнику:

— А эдак минуты через две в городе дадут сигнал воздушной тревоги.

Дивизионный комиссар сказал секретарю:

— Товарищ Орловский, вызовите мне Богарева.

— Он здесь, товарищ дивизионный комиссар, я хотел доложить вам после заседания.

— Хорошо, — сказал дивизионный комиссар и, выходя из зала, спросил Еремина: — Значит, условились насчет яблок?

— Да, да, дивизионный, договорились, — сказал командующий. — Яблоки всех сортов.

— То-то, — сказал Чередниченко и пошел к двери, сопровождаемый улыбавшимися генералом и полковником. В дверях он мельком сказал полковнику: — Вы, полковник, зря ручку вечную вертели, для чего это вертеть ручку? Разве можно хоть секунду колебаться? Нельзя, нельзя. Побьем немца.

Секретарю Военного Совета Орловскому, считавшему себя знатоком человеческих отношений, всегда казалось непонятным чувство дивизионного комиссара к Богареву. Дивизионный старый военный, около двадцати лет служивший в войсках, всегда относился с некоторым скептицизмом к командирам и комиссарам, призванным из запаса. Богарев составлял исключение, непонятное секретарю.

Дивизионный, беседуя с Богаревым, совершенно менялся, терял свою молчаливость, однажды он просидел с Богаревым в кабинете почти до утра. Секретарь ушам своим не верил: дивизионный говорил горячо, много, громко, задавал вопросы, снова говорил. Когда секретарь вошел в кабинет, оба собеседника были разгорячены, они, видимо, не спорили, но вели разговор необычайно важный для них обоих. Теперь, выйдя из зала заседания, дивизионный комиссар не улыбнулся, как обычно, увидя поднимающегося

при его входе и вытянувшегося Богарева, а подошел к нему с суровым выражением и произнес голосом, какого никогда не слышал у него секретарь на самых торжественных смотрах:

— Товарищ Богарев, вы назначены военным комиссаром стрелковой части, которой командование ставит важную задачу.

Богарев сказал:

— Благодарю за доверие.

III

Семен Игнатьев, боец первой стрелковой роты, высокий, могучего телосложения парень, до войны жил в колхозе Тульской области. Повестку из военкомата принесли ему ночью, когда он спал на сеновале. Это было как раз в тот ночной час, когда Богареву сообщили по телефону, что на завтра ему нужно явиться в Главное политическое управление Красной Армии. Игнатьев любил вспоминать с товарищами: — Ох, проводили меня важно. Три брата из Тулы, что на пулеметном заводе, ночью пришли с женами, пришел главный механик с эмтееса, вина выпили крепко, песни пели. — Теперь эти проводы казались ему веселыми и торжественными, но во время прощания нелегко было смотреть Игнатьеву на плачущую мать, на храбrivшегося старика-отца. «Смотри, Сенька, — говорил старик, — вот два серебряных георгия, а два золотых еще были, я их на заем свободы отдал, смотри на отца-сапера, полк немецкий с мостом поднял». И хоть старик храбрился, но, видно, ему хотелось плакать вместе с бабами. Семен был любимым из его пяти сыновей, самым веселым и ласковым.

Семен собирался жениться на дочери председателя колхоза Марусе Песочиной. Она училась в городе Одоеве

на счетоводных курсах и должна была после первого июля приехать домой. Подруги, и особенно мать, предупреждали ее: очень веселого и легкомысленного нрава казался им Сенька Игнатьев. Песенник, танцор, большой любитель выпить и погулять, он, казалось, не мог по-серьезному полюбить девушку и долгое время быть ей верным. Но Маруся говорила подругам: «Мне, девочки, все равно, я его так люблю, что посмотрю на него — и руки, ноги у меня стынут, даже страшно делается».

Когда началась война, Маруся попросила отпуск на два дня и прошла за одну ночь тридцать километров пешком, чтобы повидать своего жениха. Она пришла домой на рассвете и узнала, что призванных накануне днем повезли на станцию. Тогда, не отдохнувши, снова прошла Маруся восемнадцать километров до железнодорожной станции, где находился сборный пункт. Там сказали ей, что призванных увезли эшелоном, а куда повезли — объяснить отказались. «Это военная тайна», — внушительно сказал ей большой начальник с двумя кубиками на петлицах. Маруся сразу обессилела и едва смогла дойти до квартиры знакомой женщины, работавшей на станции багажным кассиром. Вечером приехал за ней отец и отвез домой.

Семен Игнатьев сразу стал знаменит в роте. Все знали этого могучего, веселого, неумолимого человека. Он был изумительным работником: всякий инструмент в его руках словно играл, веселился. И обладал он удивительным свойством работать так легко, радушно, что человеку, хоть минуту поглядевшему на него, хотелось самому взяться за топор, пилу, лопату, чтобы так же легко и хорошо делать рабочее дело, как делал его Семен Игнатьев. Был у него хороший голос и знал он много старинных песен, выученных от старухи Богачихи. Эта Богачиха была очень нелюдима, никого к себе в хату не пускала, иногда

по месяцу ни с кем слова не говорила. Она даже по воду к колодцу ходила ночью, чтобы не встречаться с деревенскими бабами, надоедавшими ей вопросами. И всех удивляло, почему она сразу отличила Сеньку Игнатьева, рассказывала ему сказки и учила песням. Одно время он вместе со старшими братьями работал на знаменитом тульском заводе, но вскоре уволился и вернулся в деревню. «Не могу я без вольного воздуха, — говорил он, — для меня по нашей земле ходить, как хлеб есть и воду пить, а в Туле земля камнем мошеная».

Часто ходил он по окрестным полям, в большой лес, на реку. Брал Игнатьев с собой удочку или плохочькое охотничье ружьецо, но делал это больше для вида, чтобы над ним не смеялись. Ходил он обычно быстро, — постоит, послушает птиц, тряхнет головой, вздохнет и пойдет дальше. Либо взберется на высокий заросший орешником холм над рекой и поет песни. И глаза у него бывали веселые, как у пьяного. Его бы посчитали в деревне чудачком и неминуемо стали бы смеяться над этими прогулками с ружьем, но уж очень уважали его за силу, за великолепное умение работать. Мог он подстроить человеку злую, но веселую шутку, мог много выпить и не захмелеть, рассказать интересный случай либо сказку с издевочкой, никогда не жалел табака для собеседника. В роте он сразу пришелся всем по душе, и хмурый Мордвинов, старшина, говорил ему не то с восхищением, не то с укоризной: «Эх ты, Игнатьев, русская твоя душа».

Особенно подружился он с двумя товарищами: московским слесарем Седовым и рязанским колхозником Родимцевым — коренастым темнолицым бойцом 1905 года рождения. Родимцев дома оставил жену с четырьмя детьми. В последнее время их часть стояла в резерве в предместьях города. Некоторые бойцы размещались в пустых домах. Таких домов в городе имелось много, так как из

ста сорока тысяч населения больше ста тысяч уехало в глубь страны. Выехали из города: завод сельскохозяйственных машин, и вагоноремонтный завод, и большая спичечная фабрика. Печально выглядели тихие заводские корпуса, не дымящие трубы, пустые улицы рабочего поселка, голубые киоски, где недавно торговали мороженым. В одном из таких киосков иногда прятался от дождей боец-регулировщик с пучком цветных флажков. В окнах заколоченных домов, оставленных жильцами, стояли увядшие комнатные цветы — фикусы с опавшими тяжелыми листьями, порыжевшие гортензии и флоксы. Под деревьями, росшими вдоль улиц, маскировались фронтные грузовые машины, через пустые детские площадки с кучами нежно-желтого песка ехали броневики, расписанные зеленой и желтой краской; они сигналили резкими, сверлящими голосами хищных птиц. Окраины сильно пострадали от бомбардировок с воздуха. Все подъезжавшие к городу рассматривали сгоревшее складское здание с огромной надписью, закоптившейся от дыма: «Огнеопасно».

В городе продолжали работать столовые, маленький завод фруктовых вод, парикмахерские. Иногда, после дождя, ярко блестела роса на листьях, весело поблескивали лужи, воздух делался нежным и чистым; людям на несколько мгновений казалось, что нет страшного горя, постигшего страну, что враг не стоит в пятидесяти километрах от обжитого их жилья. Девушки переглядывались с красноармейцами, старики, покряхтывая, сидели на скамейках в садиках, дети играли песком, приготовленным для тушения зажигательных бомб.

Игнатьеву нравился этот зеленый полупустой город. Он не чувствовал страшной печали, в которой жили оставшиеся в городе люди. Он не замечал заплаканных старых глаз, с тревогой глядевших в лицо каждому встречному военному. Он не слышал, как тихо плакали старухи, не знал, что по ночам сотни стариков не спят, стоят у окон,

всматриваются слезящимися глазами в темноту. Их белые губы шептали молитвы, они подходили к тревожно спавшим, плачущим и вскрикивающим во сне дочерям, к стонущим и мечущимся внучатам, и снова шли к окнам, стараясь угадать, куда движутся во мраке машины.

В десять часов бойцов подняли по тревоге. В темноте шоферы заводили машины, моторы негромко рокотали. Жители вышли во дворы и молча смотрели на сборы красноармейцев. Похожая на худую девочку старуха-еврейка, с головой и плечами, покрытыми тяжелым теплым платком, спрашивала у бойцов:

— Товарищи, скажите, уходить нам или оставаться?

— Куда ты пойдешь, мать? — спросил ее веселый Жавелев. — Тебе лет девяносто, ты пешком далеко не уйдешь.

Старуха скорбно кивала головой, соглашаясь с Жавелевым. Она стояла возле грузовика, освещенная синим светом автомобильной фары. Краем своего платка старуха бережно, словно касаясь пасхальной посуды, протерла крыло машины, очищая его от налипшей грязи. Игнатьев заметил это движение старухи, и неожиданная жалость коснулась его молодого сердца. И старуха словно ощутила сочувствие Игнатьева, заплакала:

— Что же делать, что же делать, вы уходите, товарищи, да, скажите мне?

Гуденье машин заглушало ее слабый крик, и она, никем не слышимая, тихо говорила:

— Муж лежит в параличе, три сына в армии, последний вчера ушел в ополчение, невестки уехали с заводом. Что делать, товарищи, как уходить, как уходить?

Лейтенант, выйдя во двор, подозвал к себе Игнатьева и сказал:

— Игнатьев, останется три человека до утра для сопровождения комиссара. Вы в том числе.

— Есть остаться для сопровождения комиссара, — весело ответил Игнатъев.

Игнатъеву хотелось эту ночь провести в городе. Ему нравилась молодая беженка Вера, работавшая уборщицей в редакции местной газеты. После одиннадцати она возвращалась с дежурства, и Игнатъев обычно ожидал ее в это время во дворе. Девушка была высока ростом, черноглазая, полногрудая. Сидеть с ней на скамеечке очень нравилось Игнатъеву. Он сидел рядом с ней, она вздыхала и рассказывала мягким украинским голосом о том, как жилось ей в Проскурове до войны, как она ночью пешком ушла от немцев, захватив лишь одно платье и мешочек сухариков, оставив дома стариков и маленького брата, как жестоко бомбили мост через Сожь, когда она шла в колонне беженцев. Все разговоры ее были о войне, об убитых на дорогах, о детских смертях, о пожарах в деревнях. В ее черных глазах все время стояло выражение тоски. Когда Игнатъев обнимал ее, она отводила его руки и спрашивала: «Зачем это, пойдешь ты завтра в одну сторону, а я в другую, и ты меня не вспомнишь, и я тебя забуду». — «Ну и что ж, — говорил он, — а может, не забуду». — «Нет, забудешь, если раньше ты меня встретил, вот ты бы послушал, как я песни спевала, а теперь не то у меня на сердце». И она все отводила его руку. Но все же Игнатъеву очень нравилось сидеть с ней, и он все надеялся, что она одумается и не откажет ему в любви. О Марусе Песочиной он вспоминал теперь редко, и ему казалось, что раз человек на войне, нет большого греха, если он заведет по доброй охоте любовь с красивой девушкой. Когда Вера рассказывала, он слушал невнимательно и все поглядывал на ее темные брови и глаза и вдыхал запах, шедший от ее кожи.

Машины одна за другой выезжали на улицу, шли в сторону Черниговского шоссе. Долго шли машины мимо скамеечки, на которой сидел Игнатъев. И стало вдруг тихо,

тёмно, неподвижно, только в окнах белели седые бороды стариков и белые старушечьи волосы.

Небо было звездным и совершенно мирным, лишь изредка сверкала падающая звезда, и военным людям казалось, что звезда эта сбита боевым самолетом. Игнатьев дождался Веры и уговорил ее посидеть рядом с ним на скамейке.

— Устала я очень, боец, — сказала она.

— Да хоть немного посиди, — уговаривал он ее. — Я ведь завтра уеду.

И она присела возле него. Он в темноте всматривался в ее лицо, и она казалась ему такой красивой и желанной, что Игнатьев жалобно вздыхал. Она и в самом деле была очень красива.

IV

Богарев сидел, задумавшись, за столом. Встреча с командиром полка Героем Советского Союза Мерцаловым произвела на него неприятное впечатление.

Командир отнесся к нему вежливо, предупредительно, но Богареву не понравился самоуверенный тон его речи.

Богарев прошелся по комнате и постучал в дверь хозяйку квартиры.

— Вы еще не спите? — спросил он.

— Нет, нет, пожалуйста, — ответил торопливый старческий голос.

Хозяином квартиры был старый юрист-пенсионер. Богарев раза два или три беседовал с ним. Старик жил в большой комнате, заставленной книжными полками, заваленной старыми журналами.

— Я к вам проститься, Алексей Алексеевич, — сказал Богарев, — завтра утром уеду.

— Вот оно как, — проговорил старик, — я сожалею. В это грозное время судьба мне подарила собеседника,

о котором я мечтал долгие годы. Сколько бы ни осталось мне жить, я буду с благодарностью вспоминать наши вечерние беседы.

— Спасибо, — сказал Богарев, — от меня вам презент — пачка китайского чаю, вы любитель этого напитка.

Он пожал руку Алексею Алексеевичу и зашел к себе в комнату. За короткое время войны он успел прочесть десяток книг по военным вопросам — много специальных сочинений, обобщающих опыт великих войн прошлого. Читать было для него так же необходимо, как есть и пить.

Но в эту ночь Богарев не стал читать. Ему хотелось написать письмо жене, матери, друзьям. Завтра для него начинался новый этап жизни, и он сомневался, удастся ли ему в ближайшее время поддержать переписку с близкими.

«Дорогая моя, милая моя, — начал писать он, — наконец я получил то назначение, о котором мечтал, помнишь, я говорил перед отъездом...»

Он задумался, глядя на написанные строки. Жену, конечно, взволнует и огорчит это назначение, о котором он мечтал. Она не будет спать по ночам. Нужно ли писать ей об этом?

Дверь приоткрылась, на пороге стоял старшина.

— Разрешите обратиться, товарищ батальонный комиссар? — спросил он.

— Да, пожалуйста, в чем дело?

— Значит, осталась полуторка, товарищ комиссар, трое бойцов. Какое ваше приказание?

— Мы поедем в восемь часов утра. Легковая машина стала на ремонт, я поеду полуторкой. К вечеру мы полк нагоним. Теперь так. Никого из людей не отпускать со двора, спать всем вместе. Машину вы лично проверьте.

— Есть, товарищ батальонный комиссар.

Старшина, видимо, хотел еще сказать что-то!

Богарев вопросительно посмотрел на него.

— Так что, товарищ батальонный комиссар, прожектора по всему небу шуруют, должно, сейчас тревогу дадут.

Старшина вышел во двор и позвал негромко:

— Игнатьев!

— Здесь, — недовольным голосом отозвался Игнатьев и подошел к старшине.

— Чтоб не смел со двора отлучаться.

— Да я безотлучно здесь, — сказал Игнатьев.

— Я не знаю, где ты есть безотлучно, а это тебе приказание комиссара, не отлучаться со двора.

— Есть, товарищ старшина, не отлучаться со двора!

— Теперь, как машина?

— Известно, в порядке.

Старшина поглядел на прекрасное небо, на темные заставившиеся дома и, зевая, сказал:

— Слышь, Игнатьев, если будет чего, ты меня побуди.

— Есть побудить, если чего будет, — сказал Игнатьев и сам подумал: «Вот привязался старшина, хоть бы спать скорее шел, носит его».

Он вернулся обратно к Вере и, быстро обняв ее, шепнул сердито и горячо ей в ухо:

— Ты скажи, для кого ты себя бережешь, для немцев, что ли?

— Ох, какой ты, — ответила она, и он почувствовал, что она не отводит его руку, а сама обнимает его. — Какой ты, не понимаешь ничего, — шопотом сказала она, — я боюсь тебя любить, другого забудешь, а тебя не забудешь. Что же, я думаю, это мне и по тебе еще плакать, — нехватит мне слез. Я и так не знала, что столько слез в моем сердце.

Он не знал, что ответить ей, да ей и не нужно было его ответа, и он стал целовать ее.

Далекий прерывистый звук паровозного гудка, за ним другой, третий пронеслись в воздухе.

— Тревога, — жалобно сказала она, — тревога, опять тревога, что же это?

И сразу же вдали послышались частые залпы зениток. Лучи прожекторов осторожно, словно боясь разорвать свое тонкое голубоватое тело о звезды, поползли среди неба, и белые яркие разрывы зенитных снарядов засверкали среди звезд.

V

Придет день, когда суд великих народов откроет свое заседание, когда солнце брезгливо осветит острое лисье лицо Гитлера, его узкий лоб и впалые виски, когда рядом с Гитлером на скамье позора грузно повернется человек с обвисшими жирными щеками, атаман фашистской авиации.

«Смерть им», — скажут старухи со слепыми от слез глазами.

«Смерть им», — скажут дети, чьи матери и отцы погибли в огне.

«Смерть! — скажут женщины, потерявшие детей. — Смерть им во имя святой любви к жизни!»

«Смерть», — скажет оскверненная ими земля.

«Смерть», — зашумит пепел под сожженными городами и селами. И с ужасом увидит германский народ на себе взоры презренья и укора, с ужасом и стыдом закричит он: «Смерть, смерть».

Через сто лет со страхом будут разглядывать историки спокойно и методически расписанные приказы, идущие из ставки верховного командования германской армии, к командирам авиационных эскадр и отрядов. Кто писал их? Звери, сумасшедшие, или делалось это не жи-

выми существами, а расписывалось железными пальцами арифмометров и интеграторов?

Налет немецкой авиации начался около двенадцати часов ночи. Первые самолеты-разведчики, шедшие на большой высоте, сбросили осветительные ракеты и несколько кассет зажигательных бомб. Звезды стали исчезать и меркнуть, когда белые шары ракет, подвешенные к парашютам, разгораясь, повисли в воздухе. Мертвый свет спокойно, подробно и внимательно освещал площади города, улицы и переулки. В этом свете встал весь спящий город: белая фигура гипсового мальчика с горном, поднесенным к губам, возле Дворца пионеров, заблестели витрины книжных магазинов, и розовые, синие огоньки зажглись в огромных стеклянных шарах, стоявших в окнах аптек. Темная листва высоких кленов в парке вдруг выступила из тьмы каждым резным своим листом, и возбужденно закричали глупые молодые грачи, поражаясь внезапному приходу дня. Осветились афиши о спектакле в театре кукол, окна с занавесками и цветочными вазонами, колоннада городской больницы, веселая вывеска над рестораном народного питания, сотни садилов, скамеечек, окошек, тысячи маленьких покатых крыш, робко заблестели круглые оконца на чердаках, желтые янтарные пятна поползли по начищенному паркету в читальном зале городской библиотеки. Спящий город стоял в белом свете осветительных ракет, город, в котором жили десятки тысяч стариков, старух, детей, женщин, город, росший девятьсот лет, город, в котором триста лет тому назад построили ученую семинарию и белый костел, город, в котором жили поколения веселых студентов и умелых мастеровых людей. Через этот город шли когда-то длинные обозы чумаков, бородатые плотовщики медленно проплывали мимо его белых домов и крестились, глядя на купола собора; славный город, заставивший расступиться густые, сырые леса; город, где из столетия в столетие трудились

знаменитые медники, краснодеревщики, кожевники, пирожники, портные, маляры, каменщики. Этот красивый старинный город на берегу реки был освещен темной августовской ночью химическим светом ракет.

Сорок двухмоторных бомбардировщиков еще днем были подготовлены к налету. Немецкие техники, в мундирчиках, с аптекарской точностью наполняли баки прозрачной, легкой жидкостью. Черно-оливковые фугасные бомбы и серебристые зажигательные в пропорции, установленной для бомбежки городов военными учеными, были подвешены к плоскостям. Командир, оберст, знакомился с точным планом полета, данным штабом, метеорологи сообщили достоверные сводки погоды. Летчики жевали шоколад, покуривали сигареты, писали домой шуточные короткие открытки, — все это были холеные мальчики, с модной стрижкой.

С поющим звуком шли самолеты. Их встретил колющий огонь зениток, лучи прожекторов ловили их, и вскоре один из самолетов загорелся; словно испорченная картонная игрушка, кувыряясь, пошел он к земле, то заворачиваясь в тряпицу черного пламени, то выпадая из нее. Но летчики уже увидели спящий город, освещенный ракетами.

Один за другим прокатились над городом взрывы, земля дрогнула от них, со звоном полетели стекла, посыпалась штукатурка в домах, сами собой стали открываться окна и двери. Полуодетые женщины, держа на руках детей, бежали к щелям. Игнатьев, схватив за руку Веру, побежал с девушкой к окопу, вырытому у забора. Там уже собрались немногочисленные, оставшиеся в доме, жильцы; медленно вышел во двор старичок-юрист, у которого жил на квартире комиссар. Старичок нес в руке пачку книг, перевязанную бечевкой. Игнатьев помог ему и Вере спуститься в окоп, а сам побежал к дому. В это время послышался вой летящей бомбы. Иг-

натъсьв лег на зѣмлю. Весь двор наполнило мглой — то поднялась в воздух тонкая кирпичная пыль от рухнувшего по соседству здания. Женщина крикнула:

— Газы!

— Какие газы! — сердито сказал Игнатьев. — Пыль это; сиди в щели. — Он подбежал к дому. — Старшина, немец бомбит! — закричал Игнатьев.

Старшина и бойцы уже проснулись, натягивали сапоги, свет начинавшегося пожара освещал их. Котелки белого металла поблескивали в свете молодого, еще бездымного пламени. Игнатьев поглядел на быстро, молча одевавшихся товарищей, потом на котелки и спросил:

— Ужин на меня получали?

— Во, брат ты мой, — сказал Седов, — ты там будешь с бабами на скамейке звезды считать, а мы на тебя ужин получай.

— Скорей, скорей собирайся, — сердито крикнул старшина. — А ты, Игнатьев, беги к комиссару, побудить его надо.

Игнатьев поднялся на второй этаж. Старый дом весь скрипел от гула бомбовых разрывов, поскрипывая, ходили двери, тревожно позванивала посуда в шкафах, и, казалось, весь старей обжитой дом дрожит, как живое существо, видя страшную скорую гибель подобных себе. Комиссар стоял у окна. Он не слышал, как вошел Игнатьев. Новый разрыв потряс землю, глухо и тяжело села штукатурка, наполнив комнату сухой пылью. Игнатьев чихнул. Комиссар, не слыша, стоял у окна, глядя на город. «Вот он какой, комиссар», — подумал Игнатьев, и невольное чувство восхищения коснулось его. В этой высокой неподвижной фигуре, обращенной к начинавшим гореть пожарам, было что-то сильное, привлекавшее.

Богарев медленно повернулся. Лицо его было угрюмо. Выражение тяжелой упорной думы лежало на всем об-

лике его, худые щеки, темные глаза, сжатые губы—все напряглось в одном большом движении. «Словно икона, строгий», — подумал Игнатьев, глядя на лицо комиссара.

— Товарищ комиссар, — сказал он, — надо бы вам уйти отсюда, ведь он совсем рядом кидает; ударит — ничего от дома не останется.

— Как фамилия ваша? — спросил Богарев.

— Игнатьев, товарищ комиссар.

— Товарищ Игнатьев, передайте старшине мое приказание: помочь гражданскому населению. Слышите, кричат женщины.

— Поможем, товарищ комиссар. Насчет тушения-то мало чего сделаешь, дома больше деревянные, сухие, и он их зажигает сотнями сразу, а тушить-то некому—молодой мирный житель эвакуировался либо в ополчение ушел. Старики и ребята остались.

— Запоминайте, товарищ Игнатьев, — вдруг сказал комиссар, — запоминайте все, что вы видите. И эту ночь, и этот город, и этих стариков и детей.

— Разве забудешь, товарищ комиссар.

Игнатьев смотрел на мрачное лицо комиссара и повторял: «Правильно, товарищ комиссар, правильно».

Потом он спросил:

— Может, разрешите гитару эту взять, что на стенке висит, все равно дом сгорит, а бойцам очень нравится, как я на гитаре играю?

— Дом ведь не горит, — строго сказал Богарев.

Игнатьев поглядел на большую гитару, вздохнул и пошел к двери. Богарев начал укладывать бумаги в полевую сумку, надел плащ, фуражку и снова подошел к окну.

Город горел. Курчавый, весь в искрах, красный дым поднимался высоко вверх, темнокирпичное зарево колыхалось над базаром. Тысячи огней белых, оранжевых,

нежно-желтых, клюквенно-красных, голубоватых огромной мохнатой шапкой поднимались над городом, листва деревьев съезживалась и блекла. Голуби, грачи, вороны носились в горячем воздухе, горели и их дома. Железные крыши, нагретые страшным жаром, светились, кровельное железо от жара громыхало и гулко постреливало, дым вырывался из окон, заставленных цветами,— он был то молочно-белым, то смертно-черным, розовым и пепельно-серым, он курчавился, клубился, поднимался тонкими золотистыми струями, рыжими прядями, либо сразу вырывался огромным стремительным облаком, словно внезапно выпущенный из чьей-то огромной груди; пеленой покрывал он город, растекался над рекой и долинами, клочьями цеплялся за деревья в лесу.

Богарев спустился вниз. В этом большом огне, в дыму, среди разрыва бомб, криков, детского плача находились люди спокойные и мужественные,— они тушили пожары, засыпали песком авиационные бомбы, спасали из огня стариков. Красноармейцы, пожарники, милиционеры, рабочие и ремесленники всеми силами своими, не обращая внимания на воющую смерть, с лицами, черными от копоти, в дымящейся одежде боролись за свой город, делали все, что могли, чтобы спасти, выручить то, что можно было спасти и выручить. Богарев сразу почувствовал присутствие этих мужественных людей, они появлялись из дыма и огня, связанные великим братством, вместе шли на подвиги, врываются в горящие дома и вновь исчезали в дыму и огне, не называя своих имен, не зная имен тех, кого спасали.

Богарев увидел, как зажигательная бомба упала на крышу двухэтажного дома, искрясь, словно детский фейерверк, начала растекаться ослепительно белым пятном. Он вбежал по лестнице, пробрался на чердак, в духоте, пахнущей дымной глиной, напоминавшей детство, подо-

шел к мутно светившемуся слуховому окну. Руки ему обжигало горячее кровельное железо. Искры садились на его одежду, но он быстро пробрался к тому месту, где лежала бомба, сильным ударом сапога сбросил ее вниз. Она упала на клумбу, осветив на миг пышные головы астр и георгин, зарылась в рыхлую землю и стала гаснуть. Богарев с крыши увидел, как из соседнего горевшего дома два человека в красноармейской форме вынесли на складной кровати старика. Он узнал бойца Игнатьева, просившего у него гитару, второй, Родимцев, был пониже ростом и пошире в плечах. Старуха-еврейка быстро заговорила, видимо, благодарила Игнатьева за спасение мужа. Игнатьев махнул рукой; в этом жесте, широком, щедром, свободном, словно выразилась вся богатая и добрая натура народа. В это время сильнее застучали зенитки, к их выстрелам присоединилось рокотание пулеметов. Новая волна фашистских бомбардировщиков налетела на горящий город. Снова послышался сверлящий вой отделившихся от самолета бомб.

— По щелям! — закричал кто-то. Но люди, разозленные борьбой, уже не ощущали опасности.

Чувство времени, протяженности и последовательности событий словно оставило Богарева. Он вместе со всеми тушил начинавшиеся пожары, засыпал песком зажигательные бомбы, выносил из огня чьи-то вещи, помогал санитарам, приехавшим с автомобилем скорой помощи, укладывать на носилки раненых, ходил вместе со своими бойцами к загоревшемуся родильному дому, выносил книги из горевшей городской библиотеки. Отдельные картины навечно запомнились ему. Человек выбежал из дома с криком: «Пожар, пожар!» Этот человек, вдруг увидевший вокруг себя один лишь сплошной огромный огонь, сразу успокоился, сел на тротуар и сидел неподвижно; запомнилось ему, как в чаду и гари вдруг распространился нежный запах духов, — это загорелся пар-

фюмерный магазин. Запомнилась ему сошедшая с ума молодая женщина; она стояла посреди пустынной площади, освещенная пожаром, и держала на руках труп девочки. Раненая лошадь лежала на углу улицы. Богарев увидел в ее стекленевших, но все еще живших глазах отражение пылавшего города. Темный, плачущий, полный муки зрачок лошади, словно кристальное живое зеркало, вобрал в себя пламя горящих домов, дым, клубящийся в воздухе, светящиеся, раскаленные развалины и этот лес тонких, высоких печных труб, который рос, рос на месте исчезающих в пламени домов.

И внезапно Богарев подумал, что и он вобрал в себя всю ночную гибель мирного старинного города.

«Пока я живу, пока я дышу, пока мои пальцы имеют силу шевелиться, пока я в силах буду произнести хоть одно слово...— сказал он себе, и медленная суровая мысль, словно торжественная клятва, проходила в его воспаленном мозгу, — пусть не будет для меня иного дела, как дело бойца, пусть все силы души и ума своего я положу, чтобы пробуждать ненависть и месть!»

С рассветом пожар стал меркнуть. Солнце смотрело на дымящиеся развалины, на стариков и старух, сидевших на узлах, среди старой посуды, цветочных вазонов, сорванных ночью со стен старых портретов в черных рамах. И это солнце, глядевшее сквозь холодеющий дым пожаров на мертвых детей, было мертвенно-белым, отравленным дымом и гарью. Богарев пошел в штаб за инструкциями и вернулся на квартиру. Во дворе к нему подошел старшина.

— Как машина? — спросил Богарев.

— В порядке, — ответил старшина. Глаза его были воспалены от дыма.

— Надо ехать, собирайте людей.

— Тут, товарищ комиссар, случай произошел, — сказал старшина, — уж под утро немец положил бомбу

аккурāt у окопчика, где жители хоронились и всех почти покалечил, а двоих убило: это старичка, у которого вы на квартире стояли, и девушку тут одну, беженку.— Он усмехнулся.— Игнатъев с ней все беседы проводил.

— Где же они? — спросил Богарев.

— Раненых — тех увезли, а убитые так и лежат, вот за ними подвода пришла, — сказал старшина.

Богарев пошел в глубь двора, где собрались люди, смотревшие покойников. Старика трудно было узнать:

Возле него валялись порванные, забрызганные кровью книги, выпавшие из вынесенной им пачки. Он, видимо, в момент разрыва бомбы приподнялся, выглядывая из неглубокой щели. «Летописи. Тацит», — прочел Богарев название книги, лежавшей рядом с телом. А девушка-беженка казалась живой, спящей. Смуглая кожа ее скрывала бледность, черные ресницы прикрывали глаза, она улыбалась лукаво и смущенно, словно стыдясь, что люди обступили ее.

Подошедший возчик взял девушку за ноги и сказал:

— Эй, кто-нибудь, помогите, что ли.

— Пусти, — крикнул Игнатъев.

Он легко и бережно приподнял тело, перенес его на подводу. Девочка, державшая в руке завядшую астру, положила цветок на грудь покойнице. Богарев помог возчику поднять тело старика. А люди с красными глазами, с перепачканными копотью лицами стояли молча, опустив головы.

Пожилая женщина, глядя на покойницу, произнесла негромко: «Счастливая».

Богарев пошел к дому. Стоявшие у подводы люди молчали, и только чей-то сиплый голос печально сказал:

— Минск сдали, Бобруйск, Житомир, Шепетовку, разве его остановишь? Видишь, что он делает. За одну ночь город какой сжег и полетел себе.

— Зачем полетел, шестерых наших сбили, — сказал красноармеец.

Вскоре Богарев вышел из квартиры убитого юриста. Он оглядел в последний раз полуразрушенную комнату, пол, засыпанный стеклом, выброшенные силой взрыва из шкафов книги, сдвинутую мебель. Подумав, он снял со стены гитару и снес ее вниз, положил в кузов машины.

Боец Родимцев, протягивая стоявшему у машины Игнатьеву котелок, говорил:

— Поешь, Игнатьев, тут макарон белый, мясо вчера я на себя получил.

— Не хочу есть, — сказал Игнатьев, — пить хочу, все запеклось внутри.

Вскоре они выехали за город. Летнее утро встретило их всей торжественной спокойной прелестью своей. Днем они остановились в лесу. Тугой чистый ручей, грациозно морщась на камнях, бежал меж деревьев. Прохлада касалась воспаленной кожи, глаза отдыхали в спокойной тени высоких дубов. Богарев увидел в траве семейство белых грибов; они стояли, сероголовые, на толстых белых ножках, и ему вспомнилось, с какой страстью он и жена в прошлом году предавались собиранию грибов на даче. Сколько радости было бы — найди они тогда такое скопище белых грибов! Им-то не очень везло на этот счет — большей частью приносили они домой сырожек и козлят.

Красноармейцы помылись в ручье.

— Пятнадцать минут на обед, — сказал Богарев старшине. Он медленно ходил меж деревьев, радуясь и печальясь беспечной красоте мира, шелесту листьев. Внезапно он остановился, прислушался, оглянулся в сторону машины. Игнатьев играл на гитаре, остальные ели хлеб и консервы и слушали.

В штабе собрался командный состав. Командир полка, Герой Советского Союза майор Мерцалов, участник финской войны, сидел за картой с начальником штаба Кудачковым, лысым мужчиной лет сорока, медленным в движениях и речи.

Командир первого батальона, капитан Бабаджаньян, в день приезда Богарева страдал от зубной боли; днем он, разгорячившись, напился ключевой воды, и ему, как он выражался, «ломало всю челюсть». Командир второго батальона, майор Кочетков, добродушный и разговорчивый человек, все посмеивался над Бабаджаньяном. Здесь же был помощник начальника штаба, красивый, плечистый лейтенант Мышанский. Полк получил боевую задачу. Он должен был при поддержке тяжелой артиллерии нанести немцам внезапный удар во фланг, чтобы задержать движение противника в обход нашей армии и этим дать возможность выйти из мешка частям стрелкового корпуса. Мерцалов знакомил с заданием командиров и комиссаров батальонов. К концу чтения пришел вызванный командир разведывательного взвода Козлов, круглоглазый, веснучатый лейтенант. Здороваясь, он с необычайной лихостью щелкал каблуками и брал под козырек. Рапортовал он командиру полка громко, чеканя каждое слово, но круглые глаза его при этом улыбались лукаво и снисходительно спокойно.

Богарев просидел все заседание молча. Он находился под впечатлением ночного пожара и несколько раз встряхивал головой, словно желая притти в себя. В начале заседания командиры часто оглядывались на Богарева, но затем привыкли и перестали его замечать.

Бабаджаньян, улыбнувшись, словно его оставила зубная боль, сказал, обращаясь к Богареву:

— Мне нравится, товарищ комиссар: армия отступа-

ет, подумайте, армия целая, а батальон Бабаджаньяна наступать будет. Честное слово, мне нравится!

Приехавший сосед, представитель гаубичного артиллерийского полка, хмурый подполковник, все время писавший что-то в блокноте, сказал:

— Только, товарищи, должен предупредить вас, — расходование снарядов мы будем производить в соответствии с нормой.

— Ну, само собой, это ведь оговорено уставом, — проговорил Кудakov.

Подполковник сказал:

— Да, да, товарищи, нормы есть нормы!

Бабаджаньян весело возразил ему:

— Какие нормы! Я знаю одну лишь норму: победа!

После делового обсуждения начался разговор о германской армии. Мышанский рассказывал о немецкой атаке в районе Львова.

— Идут шеренгой плечо к плечу, не менее километра стеночка, представляете, и этак метрах в четырехстах второй ряд такой же, а за вторым третий, — рассказывал Мышанский, — идут в высокой пшенице, у каждого автомат и вот таким вот макаром. Наша полковая артиллерия их косит, а они идут себе да идут, прямо изумительно. Не кричат, не стреляют и не видно, чтобы пьяны, — валятся, валятся в пшеницу, а остальные шагают. Ну, я вам доложу, картина!

Он стал вспоминать, как двигались тысячные колонны немецких танков по Львовскому и Проскуровскому шоссе, как ночью при свете зеленых и синих ракет высаживались немецкие парашютные десанты, как отряды мотоциклистов обстреляли один из наших штабов, как взаимодействуют между собой немецкие танки и авиация. Ему доставляло видимое удовольствие рассказывать об отступлении первых дней. «Ох, и драпал же я», — гово-

рил он. И так же нравилось ему восхищаться силой немецкой армии.

— Шутите, что с Францией сделали, — говорил он, — в тридцать дней справиться с такой огромной силой—это только при их организации, с их генералитетом, с их военной культурой!

— Да, организация есть, есть, — сказал командир полка.

— Да нет, — сказал Мышанский, — я видел эту махину в действии. Уж что тут говорить. Всю стратегию и тактику перевернули.

— Мудры и непобедимы? — вдруг громко и сердито спросил Богарев.

Мышанский поглядел на него и снисходительно сказал:

— Вы меня простите, товарищ комиссар, но я человек фронтовой, привык говорить, что думаю!

— Да никогда я этого не прошу, ни вам, ни кому другому, — перебил его Богарев. — Понимаете?

— Но недооценивать тоже не следует, — сказал Кочетков, — как бойцы мои говорят: немец трус, но вояка отличный...

— Мы ведь не дети, — сказал Богарев, — мы знаем, что имеем дело с сильнейшей армией в Европе, с техникой, да я вам прямо скажу, превосходящей на данном этапе войны нашу, да и вообще, что говорить, — с немцами имеем дело, этим все сказано. Ну, вот, товарищ Мышанский, я вас тут слушал внимательно, придется прочесть вам маленькую лекцию. Есть в том необходимость. Вы должны научиться презирать фашизм, вы должны понять, что это самое низшее, самое подлое, самое реакционное, что есть на земле. Это гнусная смесь эрзацов и воровства в самом широком смысле этих слов. Сия гнусная идеология лишена абсолютно творческого элемента.

Презирать ее нужно до глубины души, понимаете вы это? Извольте послушать: их социальные идеи—это старинный тупой бред, осмеянный Чернышевским и Энгельсом. Вся военная доктрина фашизма целиком и полностью списана из старых планов германского штаба, разработанных Шлиффеном, — все эти фланговые удары, клинья и прочее рабски копируются. Танки и десанты, которыми фашисты удивили мир, украдены: танки — у англичан, десанты — у нас. Я постоянно изумляюсь чудовищной творческой бесплодности фашизма. Ни одного нового военного приема! Все списано. Ни одного крупного изобретения! Все крадено. Ни одного нового рода оружия! Все взято напрокат. Германская творческая мысль во всех областях стерилизована: фашисты бессильны изобретать, писать книги, музыку, стихи. Они застой, болото. Они внесли лишь один элемент в историю и политику — организованное зверство, бандитизм! Презирать, смеяться над их умственным убожеством нужно, товарищ Мышанский, поняли вы меня или не поняли? Этим духом должна быть проникнута вся Красная Армия от верху и донизу, вся страна. Вам кажется, что вы фронтовик, режете правду-матку, а у вас психика долго отступавшего человека, у вас холуйская нотка в голосе.

Он встал во весь рост и, глядя в упор на Мышанского, грозно сказал:

— Как военный комиссар части я запрещаю вам проносить слова, недостойные патриота и не отвечающие объективной правде. Понятно вам это?

* * *

Начинать должен был батальон Бабаджаньяна. Атаку назначили на три часа ночи. Козлов, ходивший два раза в разведку, подробно рассказывал расположение немцев в совхозе. Танки и броневые автомобили стояли на пло-

щади; солдаты спали в помещении совхозного овощехранилища. Это овощехранилище представляло собой длинный сарай-казарму протяжением в сорок — пятьдесят метров. Немцы устроились в нем с удобствами, заставили окрестных крестьян свезти туда несколько возов сена, расстелить поверх сена полотно и куски рядна. Спали немцы в белье, сняв сапоги, свет жгли, не затемняя окон. По вечерам они хором пели песни, и разведчики, лежавшие на огородах, отлично слышали немецкое пение. Разведчиков особенно сердило это пение.—Поют,— говорили они, — а наши бойцы молчат, никогда не слышно, чтобы пели. И действительно, в то время не слышно было в войсках пения, и колонны шли молча, и на привалах не пели, не плясали.

Когда стемнело, выехал на огневые позиции дивизион гаубичного полка. Командир и комиссар дивизиона вскоре зашли в штабную избу и уселись за стол: комиссар разложил шахматную доску, командир вытащил из левой сумки фигуры, и они оба сразу же пригнувшись, задумались. Командир второго батальона Кочетков сказал:

— Вот сколько вижу артиллеристов, и почти все в шахматы играют.

Комиссар дивизиона, не отрывая глаз от доски, сказал:

— А насколько я вижу, в стрелковых частях все в домино играют.

Командир дивизиона, тоже глядя на доску, добавил:

— Точно, обязательно в козла, да еще морского.—Он показал пальцем на доску и добавил:—Так ты, Сережа, проиграешь. Явная потеря ферзя, как в тот раз под Мозырем.

Они наклонились над доской и замерли. Минут через пять, когда Кочетков уже вышел из избы, комиссар дивизиона сказал:

— Чепуха, ничего я тут не теряю,—и, глядя на доску, добавил, обращаясь к отсутствующему Кочеткову: — А кавалеристы любят играть в подкидного дурака, верно, товарищ Кочетков?

Сидевший у полевого телефона дежурный связист рас- смеялся, но тотчас озабоченно нахмурился и, покрутив ручку аппарата, строго сказал:

— Луна, луна. Медынский, ты? Проверка.

Командир полка Мерцалов негромко разговаривал с начальником штаба. В избу снова вошел Бабаджаньян, худой, высокий, возбужденный. В полутьме черные глаза его блестели. Он заговорил быстро и горячо, тыча рукой в карту:

— Это исключительный случай, разведка совершенно точно доносит, где стоят танки. Если выдвинуть артиллерию на этот холм, мы их расстреляем прямой наводкой. Честное слово! Как можно упускать, ну, как на ладони, подумайте, как на ладони! — и он показал свою худую смуглую руку, постучал ладонью по столу.

Мерцалов посмотрел на Бабаджаньяна и сказал:

— Согласен, бить так бить. Долго рассуждать я не люблю.

Он подошел к артиллеристам.

— Товарищи шахматисты, придется вас оторвать. Пожалуйста-ка сюда.

Они вместе склонились над картой.

— Ясно, они хотят перерезать шоссе — тут ведь не больше сорока километров — и выйти в тыл армии.

— В этом все значение нашей операции, — сказал начальник штаба, — имейте в виду, что командующий армией лично за всем этим делом следит.

— Вчера по радио немцы кричали: сдавайтесь, красноармейцы, сюда прибыли наши огнеметные танки, мы сожжем всех, а кто сдастся, пойдет домой,— сказал командир дивизиона Румянцев.

— Нагло ведут себя, — сказал Мерцалов, — до обидного нагло: спят раздетые, а я вот уже какие сутки сапог не снимаю, ездят, собаки, по фронтовым дорогам с зажженными фарами.

Он задумался и сказал:

— А комиссар какой у нас, его слова меня прямо, знаете, ну как...

— Крут уж очень, — сказал начальник штаба, — Мышанского сильно обложил.

— А мне понравилось, — смеясь, сказал Мерцалов, — я прямо по себе скажу, на меня вы оба действуете: Мышанский вот своими рассказами, а вы все насчет формы да нормы. Я ведь человек простой, строевой, слова больше, чем пули, боюсь.

Он посмотрел на начальника штаба и весело сказал:

— Хорош комиссар. Я с ним вместе воевать буду.

VII

Батальон Бабаджаньяна расположился в лесу. Бойцы сидели и лежали под деревьями в маленьких шалашах из ветвей с увядшими шуршащими листьями. Сквозь листву проглядывали звезды, воздух был тих и тепел. Богарев вместе с Бабаджаньяном шли по едва белевшей тропинке.

— Стой, приставить ногу! — крикнул часовой и быстро произнес: — Один ко мне, остальные на месте.

— Остальные — тоже один, — смеясь сказал Бабаджаньян и подошел к часовому, шепнул ему пропуск. Они пошли дальше. Возле одной из лиственных палаток они остановились, прислушались к негромкому разговору красноармейцев.

— Вот скажи мне, как ты думаешь, — оставим мы Германию после войны или как ее? — спросил спокойный, задумчивый голос.

— А кто его знает,— ответил второй,— там посмотрим.

— Вот хороший разговор во время большого отступления! — весело сказал Богарев.

Бабаджаньян посмотрел на светящийся циферблат часов.

Игнатъев, Родимцев и Седов не успели выснаться после бессонной ночи в горящем городе. Их разбудил старшина и велел пойти за ужином. Походная кухня тускло светила в лесной тьме своим красным квадратным глазом. Возле нее, сдержанно шумя, позвякивая котелками, толпились красноармейцы. Все уже знали о предстоящем ночном выступлении.

Трое бойцов, сталкиваясь ложками, черпали суп и неторопливо разговаривали между собой. Родимцев, участвовавший уже в шести атаках, медленно объяснял товарищам:

— В первый раз, конечно, страшно. Непонятно, ну, и страшно. Откуда что, ну, и не знаешь. Я вам скажу — автомата неопытные бойцы очень опасаются, а они совсем бесцельно бьют. Пулемет, скажем, тоже не очень в цель бьет. От него залег в овражек, за холмик ли, ну, и высматривай себе место для перебежки. Вот миномет у него самый сильный, отвратительный, я прямо скажу, — меня до сих пор от него в тоску кидает. От него одно спасение — вперед идти. Если заляжешь или назад пойдешь, накроет.

— Ох, жалко мне эту Веру,— сказал Игнатъев,— стоит, как живая. Ну, прямо не знаю.

— Нет, я теперь о бабах не думаю,— сказал Родимцев.— Я в этой войне к бабам чутье потерял. Вот ребятник повидать очень хочется. Хоть бы денек с ними. А бабы что, я не немецкий кобель.

— Эх, ты,— сказал Игнатъев,— не понимаешь. Жалко мне ее просто. За что это ее — молодая, мирная. За что он ее убил?

— Да, уж ты пожалсешь,— сказал Родимцев.— Целый день в машине на гитаре играл.

— Это ничего не значит,— проговорил москвич Седов,— у него натура, у Игнатьева, такая, никакого значения не имеет.— И, глядя в звездное небо, узором выступающее меж черной молодой листвы, медленно произнес: — Животные и растения борются за существование, а немец вот борется за господство.

— Правильно, Седов,— сказал Родимцев, любивший непонятные, ученые слова,— это ты правильно сказал,— и продолжал рассказывать:

— Дома я воротного скрипа боялся, ночью лесом ходить опасался, а тут ничего не боюсь. Почему такое стало? Привык я, что ли, или сердце у меня в этой войне другое сделалось,— запеклось? Вот я вижу, есть такие, боятся сильно, а я, ну вот что хочешь мне сделай, не боюсь и все,— и ведь мирный был человек, семейный, никогда про войну эту и не думал. Не дрался отродясь, и мальчишкой был — не дрался, и пьяным, бывало, напьюсь, не то что в драку, а еще плакать начинаю, всех людей мне жалко делается.

— Это у тебя оттого, что посмотрелся,— сказал Седов,— послушаешь жителей, увидишь вот такое дело, как вчерашний пожар, тут чорта перестанешь бояться.

— Кто его знает,— сказал Родимцев,— есть ведь очень боятся. Но у нас уж так завел командир батальона: что держим — не отдаем. Горько ли, тошно ли — стоим.

— Да, командир прочный,— сказал Седов,— а бывает и горько, бывает и тошно.

— Ну ясно, командир хороший: и опять же не заводит куда не нужно, бережет кровь своего бойца. А главное хорошо — трудности все с нами выносит. Это я помню, больной он совсем был, а целый день в болоте по грудь простоял, кровью стал харкать, это вас еще не было, когда танки шли на Новоград-Волынский. Вышел в лесок

сушиться. А он лежит, ослабел совсем. Подошел я к нему, говорю: «Товарищ капитан, поешьте, вот у меня колбаса да хлеб». А он глаза не открывает, по голосу только меня узнал: «Нет, говорит, товарищ Родимцев, спасибо, есть мне не хочется. Мне, говорит, хочется письмо от жены и детей получить, с самого начала потерял их». И так он это сказал, что прямо, ей-богу... Отошел от него и думаю: «Да, брат ты мой, это да».

Игнатъев поднялся во весь рост, расправил руки, крикнул.

— Вот чорт здоровый,— сказал Родимцев.

— А чего? — спросил Игнатъев одновременно сердито и весело.

— Чего? Ничего. Ясное дело. Пища хорошая. Ну, а работа — в деревне тоже работал. Ясно, будет здоровый.

— Да, брат,— сказал из темноты чей-то насмешливый голос,— на войне работа не тяжелая, вот залепит тебе осколок кило на полтора в кишки, будешь тогда знать, где тяже — дома или здесь.

— Это уж курский соловей запел,— сказал Сёдов и, обращаясь к невидимому во тьме человеку, спросил:

— Не любишь, чорт, когда немцы стреляют?

— Ладно, ладно,— ответил сердитый голос,— лишь бы ты очень любил.

Вскоре батальон выступил. Люди шли молча, лишь негромко раздавались голоса командиров, да то и дело ругался кто-нибудь, споткнувшись о переползавший лесную дорогу корень. Шли узкой просекой, прорубленной среди дубового леса. Деревья молчали, листва не шевелилась, лес стоял высокий, черный, недвижимый, словно литой. Бойцы выходили на широкие лесные поляны, звездное небо вдруг разливалось над ними, черное до синевы, и сердце тревожилось, когда падала стремительная ясная звезда. А вскоре снова лес смыкался вокруг них и в глазах стояла золотая звездная каша, перемешиваемая тол-

стыми лапами дубовых ветвей, и смутно белела во мраке песчаная дорога. Лес кончился, и они вышли на широкую равнину. Они шли по несжатым полям и во мраке по шороху осыпавшегося зерна, по скрипу соломы под ногой, по шуршанию стеблей, цеплявшихся за их гимнастерки, узнавали пшеницу, жито, гречку, овес. И это движение в тяжелых солдатских сапогах по нежному телу несжатого урожая, это шуршащее, как грустный дождь, зерно, которое они ощупывали во мраке, говорило многим деревенским сердцам о войне, о кровавом нашествии ярче и громче, чем пылавшие на горизонте пожары, чем красные шнуровые трассы пуль, медленно ползущие к звездам, чем голубоватые столбы прожекторов, качавшихся на небе, чем далекие глухие раскаты разрывающихся бомб. Это была невиданная война: враг топтал всю жизнь народа, он сбивал кресты на кладбищах, где похоронены матери и отцы, он жег детские книжки, он ступал по тем садам, где деды сажали антоновку и черную черешню, он наступал на горло старым бабкам, рассказывавшим детям сказки о петушке золотом гребешке, он вешал деревенских бондарей, кузнецов, ворчливых дедов—сторожей. Такого не знала Украина, Белоруссия, Россия. Такого не было никогда на советской земле. И красноармейцы шли ночью, топча сапогами свою родную пшеницу и гречку, подходили к совхозу, где среди белых хат стояли черные танки с намалеванными на них хвостатыми драконами. И добрый тихий человек, Иван Родимцев, говорил: «Нет уж, миловать его не за что».

Еще до того, как первый снаряд ударил вблизи сарая, где лежали немецкие пехотинцы и танкисты, красноармеец, фамилии которого никто не запомнил, пробрался через проволочное ограждение, незаметно прошел меж хатами в сады, перелез через забор на площадь, начал ползти к стогам сена, свезенного накануне немцами. Его заметил часовой и окликнул. Красноармеец молча продол-

жал ползти к стогам. Часового настолько озадачило бесстрашие этого человека, что он замешкался. Когда часовой дал очередь из автомата, красноармеец уже находился в нескольких метрах от сложенного сена. Красноармеец успел бросить бутылку горючей жидкости в один из стогов и упал мертвым. Немецкие танки, броневики и танкетки, стоявшие на площади, осветились красножелтым пламенем горевшего сена. И тотчас же с дистанции шестисот метров открыли огонь гаубицы. Артиллеристы видели, как из длинного сарая-казармы выбегали немецкие солдаты.

— Эх, пехота запаздывает,— сердито сказал Румянцев комиссару дивизиона Невтулову.

Но вскоре красная ракета дала сигнал атаки. Сразу же умолкли пушки. Был миг тишины, когда лежавшие люди вставали с земли, и по темной роще, по несжатой пшенице пронеслось протяжное, негромкое, прерывистое «ура». Это пошли в атаку роты Бабаджаньяна. Зарокотали станковые пулеметы, рассыпчато разносился треск винтовочных выстрелов. Бабаджаньян взял из рук связиста телефонную трубку. До слуха дошел идущий из боя голос командира первой роты:

— Ворвался на окраину деревни, противник бежит.

Бабаджаньян подошел к Богареву, и комиссар увидел в черных пламенных глазах командира батальона слезы.

— Бежит противник, противник бежит, товарищ комиссар,— сказал он с придыханием.— Эх, отрезать бы их можно было, мерзавцев! — закричал он.— не туда Мерцалов кочетковский батальон поставил! Зачем в затылок, во фланг надо бы.

С наблюдательного пункта они видели, как немцы бежали с окраины в сторону площади. Многие из них были не одеты, несли в руках оружие и свертки одежды. Длинный сарай-казарма пылал весь, пылали стоявшие на площади танки, огромный высокий дымный костер живой

красной башней поднимался над автоцистернами с горючим. Среди солдат можно было заметить фигуры офицеров, кричавших, грозивших револьверами, тоже бегущих.

«Вот она, внезапность», — думал Богарев, всматриваясь в толпы солдат, мечущихся среди построек.

— Пулеметы, пулеметы вперед! — закричал Мерцалоз и побежал в сторону стоявшей в резерве роты. Вместе с пулеметчиками он вошел в деревню.

Немцы отходили по большаку в сторону деревни Марчихина Буда, находившейся в девяти километрах от совхоза. Многие танки и броневики ушли, раненых и убитых немцев успели унести.

Уже рассвело. Богарев осматривал сгоревшие немецкие машины, пахнувшие жженной краской и маслом, щупал еще не остывший мертвый металл.

Красноармейцы улыбались, смеялись. Смеялись и шутили командиры, даже раненые возбужденно рассказывали друг другу бескровными губами о ночном бое.

Богарев понимал, что этот внезапный, торопливо подготовленный налет на совхоз — маленький эпизод в нашем долгом отступлении. Он чувствовал душой громадность потерянного нами пространства, всю тяжесть потерь больших городов, промышленных районов, трагедию миллионов людей, оказавшихся под властью фашистов. Он знал, что за эти месяцы нами потеряны десятки тысяч деревень, и в эту ночь возвращена лишь одна. Но он испытывал безмерную радость, ведь он видел своими глазами, как немцы бежали во все стороны, он видел их кричащих, перепуганных офицеров. Он слышал громкую веселую речь красноармейцев, он видел слезы радости на глазах командира из далекой Армении, когда бойцы отбили у немцев деревушку на границе Украины и Белоруссии. Это было крошечное зерно великого дерева победы.

Пожалуй, он единственный в полку по-настоящему знает

положение, в котором находились войска, произведшие ночной налет. Напутствуя его, дивизионный комиссар сказал:

— Надо держать, держать до последнего.— Он видел карту в штабе фронта и ясно представлял себе задачу полка: держать большак, проходящий у совхоза, и не давать немецким частям пробиться к шоссе на дороге в тыл отходящей армии. Он знал, что полку предстоит не легкая судьба.

В семь часов утра налетели немецкие бомбардировщики.

Они появились внезапно из-за леса. «Воздух!» — закричали часовые. Пикировщики, нарушив строй звеньев, построились в кильватерную колонну, затем замкнули круг так, что ведущий самолет вышел в хвост последнему ведомому, и, медленно, внимательно рассматривая землю, «каруселью» закружились над совхозом. Это томительное и страшное кружение длилось минуты полторы. Люди на земле, точно во время игры в прятки, пригнувшись, перебежали из одного укрытия в другое. «Лежать, не бегать!» — кричали командиры. Внезапно ведущий самолет перешел в пики, за ним другой, третий, завывли бомбы, чугунно-потрясающе ударили разрывы. Черный дым, разорванная в клочья земля, пыль заполняли воздух. Лежащие старались плотней прижаться к земле, используя каждое углубление почвы, их словно вдавливало в землю визгом бомб, грохотом разрывов, воем моторов, выходящих из пики самолетов.

Один из лежащих на земле бойцов приподнялся и начал стрелять по пикировавшим машинам из автомата. Это был Игнатьев.

— Что ты делаешь, какого чорта демаскируешь час, прекратить немедленно! — закричал сидевший в щели Мышанский.

Но боец, не слыша, продолжал стрелять.

— Я приказываю прекратить стрельбу! — крикнул Мышанский. Совсем близко от него застрочил второй автомат.—Кто там еще, какого чорта...—крикнул Мышанский, оглядываясь, и внезапно заикнулся. Стрелял комиссар Богарев...

— Бомбежка ничего не дала немцам,— говорил начальник штаба полка,— подумайте: утюжили тридцать пять минут, скинули с полсотни бомб, результат — двое легко раненных да разбитый станковый пулемет!

Богарев вздохнул, когда начальник штаба сказал о ничтожных результатах бомбежки. «Нет,— подумал он,— результат не так уж ничтожен,— опять люди говорят негромко, опять глаза скучные, тревожные, то драгоценное настроение исчезло».

В это время подошел Козлов. Лицо его словно похудело и было покрыто тем темным налетом, который носят на лицах люди, выходящие из боевого пекла. Копоть ли это пожаров, дым ли разрывов, мелкая ли пыль, поднимаемая волной воздуха и смешанная с трудовым потом битвы,— бог его ведает. Но после боя лица всегда худеют и темнеют, становятся строже, глаза спокойней и глубже.

— Товарищ командир полка,— доложил он,— пришел Зайцев из разведки. В Марчихину Буду прибыли германские танки, насчитал он штук до ста. Машины в большинстве средние, но есть процент тяжелых.

Мерцалов поглядел на нахмурившиеся лица командиров и сказал:

— Вот видите, товарищи, как мы удачно стали немцу, что называется, поперек горла.

И он ушел в сторону совхозной площади.

Красноармейцы копали окопы вдоль дороги, рыли ямы для истребителей танков.

Красивый и нагловатый Жавелев негромко спросил у Родимцева:

— Верно, Родимцев, ты первый на склад немецкий во-
рвался, там, говорят, часов сто дюжин было?

— Да, уж добра, не то что внукам, правнукам бы хва-
тило,— сказал Родимцев.

— Взял на память чего-нибудь? — подмигнул ему Жа-
велев.

— Что ты, ей-богу,— испуганно сказал Родимцев,—
мне натура не позволяет, мне отвратительно к его вещам
прикоснуться. Да и зачем брать — я веду свой смертный
бой.

Он оглянулся и сказал:

— А Игнатъев-то, Игнатъев — мы раз ударили лопатой,
он три. Мы вдвоем один окоп, а он один два выкопал.

— И поет еще, сукин сын,— сказал Седов,— и ведь
двое суток не спал.

Родимцев прислушался, поднял лопатку.

— Ей-богу, поет,— весело сказал он,— что ты скажешь!

VIII

Мария Тимофеевна Чередниченко, мать дивизионного
комиссара, темнолицая семидесятилетняя старуха, уезжа-
ла из родной деревни. Соседи звали ее схать днем, но
Мария Тимофеевна пекла на дорогу хлеб, и он должен
был поспеть лишь к ночи следующего дня. А утром уез-
жал председатель колхоза, и она решила ехать с ним.
Внук, одиннадцатилетний Леня, приехал гостить к ней
в деревню, после окончания занятий в киевской школе,
недели за три до войны. С начала войны она не получала
писем от сына и решила взять внука в Ворошиловград,
к родителям его покойной матери, умершей три года тому
назад. Дивизионный комиссар уже несколько раз просил
мать приехать к нему,— в большой киевской квартире ей
бы жилось удобней и легче. Она ежегодно ездила к нему,
гостить, но обычно проводила у сына не больше месяца.

Сын возил ее кататься по городу, она была два раза в Историческом музее и любила театр. Посетители театра с интересом и почтением смотрели на высокую строгую старуху-крестьянку с морщинистыми трудовыми руками, сидевшую в первом ряду партера. Сын приезжал обычно перед последним действием, он освобождался очень поздно. Они шли по фойе рядом, и все расступались, давая им дорогу — прямой строгой старухе с черным платком на плечах и такому же темнолицему, строгому, похожему на нее лицом, военному в высоком звании дивизионного комиссара. «Мать и сын», — негромко говорили женщины, оглядываясь.

В 1940 году Мария Тимофеевна болела и не приехала к сыну; он в июле, по дороге на маневры, заехал к ней на два дня. И при этой встрече сын просил Марию Тимофеевну переехать в Киев. После смерти жены жилось ему одиноко, и он все боялся, что Леня растет без женской ласки. Да и огорчало его, что мать в свои семьдесят лет продолжает работать в колхозе, носит от дальнего колодца воду, сама рубит дрова. Она молча слушала его рассуждения, поила его чаем в саду под яблоней, которую при нем посадил отец, а перед вечером пошла с ним на кладбище к могиле отца. На кладбище она сказала:

— Разве я могу отсюда уехать? Тут я и умру. Ты уж прости меня, сынок.

И вот она собралась уходить из родного села. Накануне отъезда она пошла к знакомой старухе. Внук пошел вместе с ней. Они подошли к хате и увидели, что ворота настежь открыты, во дворе стоял одноглазый старик Василий Карпович, колхозный пастух. Возле него, опустив хвост, юлила рыжая хозяйская собачка.

— Та, Тимофеевна, уже уехали, — сказал Василий Карпович. — Воны думали, вы с утра поехали.

— Нет, мы завтра поедem, — сказал Леня. — Нам председатель дал лошадей.

Солнце заката освещало начавшие розоветь помидоры, сложенные заботливой рукой хозяйки на подоконнике. Пышные цветы, радовавшиеся в палисаднике, фруктовые деревца, обмазанные белым, с подпорочками под ветвями. На перекладине забора лежала аккуратно выструганная рогулька, которой запирались ворота, в огороде среди зеленой ботвы желтели гарбузы, виднелись созревшие початки кукурузы, стручки бобов и гороха, кругло смотрел черноглазый подсолнух.

Мария Тимофеевна прошла в покинутый дом. И здесь все носило следы мирной жизни, любви хозяев к чистоте и к цветам: на подоконниках стояли курчавые розочки, в углу — большой темнолиственный фикус, на комодке — лимон и два вазона с тоненькими ростками финиковой пальмы. И все, все в доме: и кухонный стол с черными круглыми следами горячих чугунов, зеленый подвесной умывальник с нарисованной на нем белой ромашкой, буфетик с чашечками, из которых никто никогда не пил, темные картины на стенах — все, все говорило о долгой жизни, шедшей в этой брошенной хате, о деде, бабке, о детях, оставивших на столе учебник «Родная литература», о тихих зимних и летних вечерах. И тысячи таких белых украинских хат стояли пустыми, и хозяева, строившие их, взрастившие вокруг них деревья, шли хмурясь, пыля сапогами, по дорогам, ведущим на восток.

— Дедушка, а собаку оставили? — спросил Леня.

— Не захотилы его взять, я его буду годувать, — сказал старик и заплакал.

— Ну, чого плакать? — спросила Мария Тимофеевна.

— А, чого, чого, — сказал старик и махнул рукой.

И этим тяжелым движением руки с черными, изуродованными трудом ногтями выразил он, как рухнула вся жизнь.

Мария Тимофеевна, торопясь, пошла к дому, и бледный худенький Леня едва поспевал за ней и спрашивал:

— Бабушка, а как ты думаешь, есть у курицы позвоночный столб?

— Цыть, Ленечка, цыть,— говорила она:

Как горько казалось ей проходить по этой деревенской улице! Ведь по этой улице везли ее когда-то венчатыя в церковь. По этой улице шла она за гробом отца, матери, мужа. И завтра ей предстояло сесть на подводу среди узлов с торопливо собранным скарбом, покинуть дом, где прожила она хозяйкой пятьдесят лет, где растила детей, куда приехал к ней тихий, понятливый и жалостливый внучек.

А в деревне, освещенной теплым вечерним солнцем, в белых хатах, среди цветников и в милых садах шопотом говорили о том, что красных войск нет до самой реки и что старик Котенко, уехавший во время коллективизации в Донбасс, а затем вновь вернувшийся, велел своей старухе мазать белой крейдой хату, как перед пасхой. И вдовья бабка Гуленьская стояла у колодца и всем говорила:

— Кажуть, вин полоски наризають, кажуть люди, вин в бога вируе.

И слухи, темные, нечистые, пошли по деревне. Старики, выйдя на улицу, смотрели в сторону, откуда каждый вечер в розовой пыли заката возвращалось с выпаса стадо; оттуда, из-за дальнего леса, из дубовой рощи, где обычно много было грибов, должен был появиться герман. Бабы, плача, всхлипывая, рыли в садах и под домами ямы, укладывали туда бедное свое добро — одеяла, валенки, посуду — и оглядывались на запад. Запад был ясен и тих.

Председатель колхоза Грищенко зашел к старику Котенко взять четыре мешка, которые Котенко взял у него взаймы месяц тому назад.

Котенко, высокий, плечистый старик, лет шестидесяти пяти, с густой бородой, сидел за столом и смотрел, как старуха его мазала хату.

— Здравствуйте,— сказал Грищенко,— пришел к вам мешки свои взять.

Котенко насмешливо спросил:

— В дорогу ты собрался, председатель колхоза?

— А как же, надо ехать,— сказал Грищенко и зло поглядел на старика.

Тот словно выпрямился за эти дни, речь стала насмешливой, неторопливой, и обратился он к Грищенко на «ты».

— Да, да, ехать надо,— говорил ему старик,— как же тебе не ехать, председатель сельсовета уехал, из конторы все уехали, счетовод уехал, почти все ваши уехали, почтальон и тот уехал, все бригадиры уехали.

Он рассмеялся.

— Видишь, какое дело. А мешков я тебе отдать не могу: понимаешь, взял их зять и повез в них зерно в Белый Колодец, только послезавтра обратно будет.

Грищенко кивнул головой и сказал спокойно:

— Ладно, пусть пропадает. А чего это вы хату задумали мазать?

— Хату мазать? — переспросил старик. Ему хотелось сказать председателю, для чего он мажет хату, но, осторожный, скрытный, привыкший таиться, он и сейчас побоялся. «Кто его знает, возьмет да и застрелит», — подумал он. Он словно пьянел от радости, и ему хотелось сейчас, хотя запад еще пуст, хотя председатель колхоза еще ходит по хатам, высказать все, что лежит в его душе, все, что думал он в зимние ночи, о чем не говорил даже со своей старухой. Когда-то, лет сорок тому назад, ездил он к дяде своему, батрачившему у богатого кулака-эстонца. Словно поэма, навек прозвучавшая для него, вошли ему в сердце и душу воспоминания о красивом скотном дворе, где моют с мылом цементный пол, о паровой мельнице, о самом хозяине, плотном, бородатом старике в красном тулупчике, обшитом мехом. Он тысячи раз вспоминал красивые, расписанные яркими цветами сани.

молодую, горячую и в то же время послушную лошадь, подкатившую к светлому, чистому крыльцу, и хозяина в его знаменитом тулупчике, в высокой дорогой шапке, в расшитых рукавицах, в мягких, теплых валеночках. Ему помнилось, как, объезжая лес, где пилили дрова батраки, хозяин вынул из кармана бутылочку, отвинтил затейливую пробку и выпил глоток водки, настоянной на коричнево-красных ягодах. Это не был купец, это не был помещик-дворянин, нет, это был мужик, настоящий мужик, но мужик богатый, сильный. И вот стать таким богатым мужиком, имеющим красивых красных коров, стада овец, сотни больших розовых свиней, мужиком, в чьем хозяйстве работают десятки крепких послушных батраков, стало мечтой, жизнью, дыханием Котенко. Он шел к осуществлению своей мечты жестоко, неутомимо, умно. В 1915 году у него было шестьдесят десятин земли, он построил паровую крупорушку. Революция отняла у него мечту, смысл его жизни. Двое из его сыновей ушли в Красную Армию и погибли на фронтах гражданской войны. Котенко не позволил жене повесить их фотографии на стену. Котенко надеялся, молился. В 1931 году он ушел в Донбасс и восемь лет проработал на шахте. А поэма кулацкой жизни не хотела, не могла умереть.

И сейчас, казалось ему, пришло время осуществления этой мечты.

Все годы мучила его зависть к старухе Чередниченко. Котенко видел, что почет, который он хочет получить при царской власти, она получила в трудовой жизни после революции. Ее возили в город, и она говорила речи в театре. Котенко не мог спокойно смотреть на ее фотографию, напечатанную в районной газете, — старуха с тонкими губами, в черном платке на плечах, смотрела умными недобрыми глазами и, казалось ему, насмеялась над ним. «Эх, Котенко, не так ты жил», — говорило ее лицо. И ненависть охватывала его, когда видел он эту старуху,

спокойно идущую работать в поле, или когда соседи говорили:

— А Тимофеевна в Киев к сыну поехала, лейтенант за ней на машине голубой приезжал.

Но теперь Котенко знал: не зря ждал он, прав оказался он, а не она. Недаром он отпустил себе такую же бороду, какую носил кулак-эстонец, недаром ждал он, недаром надеялся.

И, глядя на председателя, пытливо смотревшего на него, он сдерживал и успокаивал себя: «Подожди, подожди, ты дольше ждал, теперь ведь денек ждать, один лишь только денек».

— Кто его знает, — зевая сказал он, — кто его знает, вот пришло бабе в голову мазать хату в такое время, а уж если баба захочет, разве сделаешь с ней что.

Он вышел проводить председателя, долго смотрел на пустую дорогу, и в голове его весело, возбужденно шевелились мысли: «Черевиченко хату на моей земле построил, значит, хата моя будет, а захочет Черевиченко остаться в этой хате, аренду станет мне платить волотыми деньгами... Колхозная конюшня на моей земле поставлена, значит, моя будет конюшня... Колхозный сад на моей земле посажен, значит, мои будут черешни и яблони... И пасека колхозная моей будет, докажу, что эти ульи у меня в революцию забрали...»

Дорога стояла спокойная, пустая, не пылила, деревья не шелохнутся вдоль этой дороги. Красное, сытое, спокойное солнце опускалось в землю.

«Ну, вот и дождался», — думал Котенко.

IX

Леня спросил:

— Бабушка, мы успеем уехать?

— Успеем. Ленечка, — ответила Мария Тимофеевна.

— Бабушка, а почему мы отступаем все время разве немцы сильнее?

— Ты спи, Ленечка, — сказала Мария Тимофеевна, — завтра поедем, только светать начнет. И я на часок прилягу, отдохну, а потом собираться буду. Дышать мне трудно, словно камень на грудь положили. Снять его хочется, и нет сил снять его.

— А папу не убили, бабушка?

— Что ты, Леня, твоего папу не убьют. Он сильный.

— Сильней Гитлера?

— Сильней, Ленечка. Он мужиком был, как дедушка наш, а теперь генерал. Он умный, знаешь, какой умный.

— А папа все молчит, бабушка. Посадит меня на колени и молчит. А раз мы с ним вместе песни пели.

— Спи, Леня, спи.

— А корова пойдет с нами?

Никогда Мария Тимофеевна не испытывала такой слабости, как в этот день. Дела было много, а сила вдруг вся ушла, и почувствовала она себя дряхлой, слабой.

Она постелила на лавку ватное одеяло, положила подушку и легла. Было жарко от печи. И горячие хлебы, вынутые из печки, золотые, словно солнце, пахли приятно, сладко, и от них шло тепло.

Неужели в последний раз вынула она из своей печи хлебы, неужели не будет она больше есть хлеб из своей пшеницы? Мысли путались в ее голове.

Вот в детстве так лежала она на теплой печи, на отцовском мохнатом кожухе, и смотрела на поляны, вынутые матерью из печи. «Манька! Сидаты иды», — звал ее дед. Где сын теперь? Жив ли он? Как добираться? «Манька, а Манька», — позвала ее сестра, и она босыми худыми ножками пробежала по прохладному глиняному полу. Портреты все нужно взять, фотографии снять со стены. Цветы останутся. Деревья фруктовые останутся. И могилы все останутся. Не пошла она на кладбище проститься.

И кошка останется. Рассказывают колхозники, что в сожженных деревнях остаются одни лишь кошки. Собаки уходят с хозяевами, а кошки — привычные к дому, не хотят уходить. Ох, как жарко, как трудно дышать, какая тяжесть в руках. Руки точно сейчас почувствовали ту великую работу, которую старуха сделала в свою семидесятилетнюю жизнь. Слезы текут по щекам, а руку тяжело поднять, и слезы текут, текут. Вот так она плакала, когда лисица утащила из стада самую жирную гусыню. Вечером она пришла домой, и мать сказала печально: «Манька, а где гуска наша?»

Она плакала, и слезы текли по щекам, и отец, суровый, всегда молчаливый, подошел к ней, погладил по голове, сказал: «Не плачь, доню, не плачь». И ей казалось, что и сейчас она плачет от сладкого счастья, когда почувствовала на своих волосах ласковую шершавую руку отца. В этот горький последний вечер ее жизни словно исчезло время, и в хату, которую она должна была покинуть, вновь пришло ее детство, и девичество, и первые годы замужней жизни. Она слышала плач своих грудных детей, и веселый хитрый шопот подруг, она видела сильного, молодого черноволосого мужа, он угощал за столом гостей, и она слышала звяканье вилок, хруст соленых огурцов, крепких, как яблоки. Это бабка научила ее солить огурцы. Гости запели, и она подтягивала им молодым своим голосом и чувствовала на себе взгляды мужиков, и муж гордился ею, и, ласково покачивая головой, старик Афанасий говорил: «Ой, то Марья...»

Должно быть, она заснула. Потом ее разбудил шум, необычайный, дикий, такого шума никогда не было в ее родном селе. Проснувшийся Леня звал ее: «Бабушка, бабушка, вставай скорей! Бабушка, я тебя очень прошу, не нужно спать». Быстро подошла она к окошечку, отодвинула занавеску, посмотрела.

Ночь ли то была, или пришел новый страшный день? Все стало красно-розовым, словно всю деревню — и низенькие хаты, и стволы берез, и сады, и заборы — облило кровавой водой. Слышались выстрелы, гудение автомобильных моторов, слышались крики. Немцы ворвались в деревню. Вошла орда... Так вошла орда, пришедшая с запада, — с совершенными радиопередатчиками, с аппаратурой из никеля, стекла, вольфрама, молибдена, с шинами на машинах, сделанными на заводах синтетического каучука. И, словно стыдясь совершенных машин, созданных, вопреки им, европейской наукой и трудом, фашисты намалевали на них символы своей жестокой дикости — медведей, волков, лис, драконов, человеческие черепа с перекрещенными костями.

Мария Тимофеевна поняла, что пришла ее смерть.

— Леня, — сказала она, — беги к пастуху, к Василию Карповичу, он тебя выведет, он пройдет с тобой к папе. Она помогла внуку одеться.

— Где моя шапочка? — спросил он.

— Теперь тепло, пойди без шапочки, — сказала она.

Он, словно взрослый, сразу понял, почему не нужно надевать матросскую курточку с золотыми пуговицами.

— Наган и рыболовные крючки можно взять? — тихо спросил он.

— Бери, бери, — и она передала ему игрушечный черный револьвер.

Мария Тимофеевна обняла внука и поцеловала его в губы. Она сказала ему:

— Иди, Ленечка, скажи отцу: кланялась тебе маты низко, до самой земли; а ты, внучек, помни бабу, не забывай меня.

Он выбежал из хаты в тот момент, когда немцы шли к их двору.

— Огородами беги, огородами! — крикнула ему вслеп бабушка.

Он бежал, и, казалось, слова ее прощания навеки утонули в смятенной детской душе. И не знал он, что слова эти вновь возникнут в памяти и никогда уже не забудутся им.

Мария Тимофеевна встретила немцев на пороге хаты. Она увидела, что за спиной у них стоит старик Котенко. И даже в эту страшную минуту Марию Тимофеевну поразили глаза старика: жадно, пытливо смотрели они на нее, искали в лице ее растерянности, страха. Высокий, худой немец с запыленным, грязным и потным лицом спросил ее по-русски, старательно, словно печатая крупными азбучными буквами:

— Вы мать комиссара?

И она, чуя смерть, еще больше выпрямила свой прямой стан, сказала протяжно и тихо:

— Я его маты.

Немец посмотрел медленно и внимательно ей в лицо, посмотрел на портрет Ленина, потом поглядел на печь, на разобранную постель. Стоявшие за его спиной солдаты оглядывали хату, и старуха обострившимся до прозрения взором ловила их быстрые, деловые взгляды, обращенные к кринке молока на столе, к вышитым красными петухами полотенцам, к пшеничным хлебам, к куску сала, наполовину завернутому в чистую холщевую тряпицу, к бутылке вишневой наливки, горевшей рубиновыми искрами на подоконнике.

Один из солдат сказал что-то негромко и добродушно, остальные рассмеялись. И опять Мария Тимофеевна поняла своим обострившимся до святого прозрения чутьем, о чем говорили солдаты. Это была простая солдатская шутка по поводу хорошей еды, попавшейся им. И старуха содрогнулась, вдруг поняв то страшное равнодушие, которое немцы испытывали к ней. Их не интересовала, не трогала, не волновала великая беда семидесятилетней женщины, готовой принять смерть. Просто старуха стояла пе-

ред хлебом, салом, полотенцами, полотном, а им хотѣлось есть и пить. Она не возбуждала в них ненависти, ибо она не была для них опасна. Они смотрели на нее так, как смотрят люди на кошку, теленка. Она стояла перед ними, ненужная старуха, для чего-то существовавшая на жизненно необходимом для немцев пространстве.

Нет и не было на земле ничего страшней, чем такое равнодушие к людям. Немцы двигались вперед, отмечая на картах маршруты, записывая в дневники количество съеденного меда, описывая дожди, купания в реках, лунные ночи, беседы с товарищами. Очень немногие из них писали об убийствах в бесчисленных деревнях с трудными, быстро забываемыми названиями. Это казалось законным и скучным делом.

— Где сын комиссара? — спросил немец.

— А ты с дитмы тоже воюешь, гад? — спросила Мария Тимофеевна.

Она осталась лежать на пороге хаты, и немецкие танкисты старательно переступали через лужу черной крови, ходили взад и вперед, вынося вещи, оживленно толкуя между собой:

— Хлеб совсем еще теплый.

— Если бы ты был порядочным парнем, то из пяти положенцев хотя бы одно дал мне. А? Как ты считаешь? У меня ведь нет ни одного такого, с петухами.

* * *

Посреди комнаты стоял стол, накрытый белой скатертью. На столе были мед, сметана, украинская домашняя колбаса, шпигованная салом и чесноком, большие темные кринки с молоком. На столе кипел самовар.

Сергей Иванович Котенко в черном пиджаке, поблескивающем от нафталиновых чешуек, в черном жилете, в бе-

лой; дорогого тонкого полотна, вышитой рубашке, прини- мал немецких гостей — майора, командира танкового от- ряда и смуглого пожилого офицера в золотых очках с бе- лым черепом на рукаве мундира. Офицеры устали после долгого ночного перехода, лица их были бледны. Майор выпил стакан темнокоричневого томленного молока и, зе- вая, сказал:

— Это молоко мне очень нравится, оно напоминает шо- колад.

Сергей Иванович, придвигая гостям тарелки, говорил:

— Кушайте, пожалуйста. Что же вы ничего не ку- шаете?

Но уставшим офицерам не хотелось есть, они зевали, вяло поворачивали вилками колечки колбасы на тарелках.

— Надо бы выставить этого старца, да и супругу его, — сказал офицер в очках, — я буквально задыхаюсь от запаха нафталина, впору надеть противогаз.

Майор рассмеялся.

— Попробуйте меда, — сказал он, — жена мне пишет ешь побольше украинского меда.

— Мальчишку не нашли? — спросил офицер в очках.

— Нет, пока нет.

Майор взял маленький кусочек хлеба, покрыл глыбкой масла, затем нащупал ложкой засахарившийся ком меда и взгромоздил его на хлебный кусочек, быстро проглотил и запил несколькими глотками молока.

— Серьезно неплохо, — сказал он, — уверяю вас.

Котенко очень хотелось спросить, кому нужно заявить о своих правах на дома, колхозную конюшню, ульи, сад. Но непонятное чувство робости охватило его. Раньше, ка- залось ему, он сразу же с приходом немцев почувствовал себя легко и свободно, он будет сидеть с ними за столом беседовать, рассказывать. Но они не пригласили его есть, в их насмешливых зевающих лицах видел он равно- душие и скуку. Разговаривая с ним, они нетерпеливо мор-

шились, его настороженное ухо ловило непонятные немецкие слова, видимо, сказанные с насмешкой и презрением о нем, о жене его.

Офицеры встали из-за стола, пробормотали одно и то же невнятное слово, должно быть, означавшее ленивое приветствие, и вышли на улицу, направились к школе, куда денщики принесли им постели.

Уже рассвело, догоравшие пожары дымились.

— Ну, што, Мотря, спать ляжешь? — спросил Сергей Иванович.

— Не могу я спать, — сказала жена.

Чувство тревоги, страха все больше охватывало Котенко. Он оглядел стол, нетронутую еду. Он ведь так мечтал о веселом торжественном пиршестве, о прочувствованном слове, которое скажет при начале новой, богатой жизни.

Он лег на постель, но долго не мог уснуть. В голову лезли мысли о сыновьях, погибших в Красной Армии, о старухе Чередниченко. Он не видел ее последних минут; когда она замахнулась на офицера, Сергей Иванович выбежал во двор, стал у забора. Он услышал выстрел из хаты, и зубы у него застучали от волнения. Но офицер, вышедший к нему, был так спокоен, солдаты, тащившие вещи из хаты, так добродушно и деловито переговаривались, что Сергей Иванович успокоился. «Совсем одурела старуха, — подумал он, — офицера по лицу бить надумала». Он закричал, повернулся на бок. Запах нафталина мучил его. Голова стала от этого запаха тяжелой, сильно ломило в висках. Он тихо приподнялся, подошел к сундуку, где лежала зимняя одежда, и вынул спрятанные женой фотографии сыновей в буденновках, с саблями на боку. Мельком поглядев на пристально, с любопытством глядевших на него с портретов скуластых круглоглазых парней, он начал рвать фотографии и обрывки бросил под лещку. После этого он снова лег. Ему сразу отчего-то ста-

ло грустно, спокойно. «Теперь все так и будет, как хотел», — подумал он и уснул.

Проснулся он в десятом часу и вышел на улицу. Деревня была полна пыли. Все новые огромные грузовики с пехотой въезжали на деревенскую улицу. Солдаты топами бродили по хатам. Их худые, загоревшие лица гледили подозрительно и чуждо.

«Вот это сила», — подумал Сергей Иванович. Он услышал крики со стороны колодца и оглянулся. Дочка Червиченко, Ганна, торопясь шла с ведрами к своему дому. Ее большими шагами нагонял высокий мальчик в желтых бусах на толстой подошве. «Ой, люди добрые, наша хата горит, зажгли, проклятые, и тушить не дают!» — плакала она.

Высокий солдат нагнал ее, заставил поставить ведро, что-то быстро заговорил, взял за руку, стал заглядывать в заплаканные глаза. Подошли еще два солдата и смеясь стали говорить, растопырили руки, чтобы не дать девушке дороги. А соломенная крыша пылала ярким желтым огнем, веселым, живым, беспечным, как утреннее летнее солнце. Пыль застилала улицу, пыль ложилась на лица людей, запах гари наполнял воздух, над прогоревшими пожарищами кадили белые дымки, тонкие и высокие, пенные трубы печальными памятниками стояли над погибшим жильем. В некоторых печах стояли горшки, чугуны. Бабы и дети, с красными от дыма глазами, копались в пожарищах, вытаскивали обгоревшую утварь, сковороды, уцелевшую чугунную посуду. Сергей Иванович увидел двух немцев, готовившихся доить корову, один подносил корове на тарелочке посоленную, мелко нарезанную картошку. Корова недоверчиво подбирала лакомство мокрым губой и косилась на второго немца, приспособившего эмалированное ведро под ее вымя. Возле пруда слышалась оживленная немецкая речь, испуганный крик гусей. Несколько солдат, прыгая по-лягушачьи, расставив руки

позили гусей, которых выгоняли из пруда двое совершенно одинаковых рыжих парней, стоявших по пояс в воде. Рыжие вышли из воды и нагишом подошли к старухе-учительнице, Анне Петровне, шедшей через площадь. Они скорчили рожи и стали приплясывать. Солдаты хохотали, глядя на этот танец.

Сергей Иванович пошел к школе; там, на качелях, где во время перемен играли дети, висел председатель колхоза Грищенко. Босые ноги его вот-вот собирались коснуться земли — живые ноги, с мозолями, кривыми пальцами. Его потемневшее лицо, налитое сгустившейся кровью, смотрело прямо на Сергея Ивановича, и Сергей Иванович ахнул: Грищенко смеялся над ним. Страшным, диким взором смотрел он, высовывая язык, склонивши тяжелую голову, спрашивал: «Что, Котенко, дождался немцев?»

Помутилось в голове у Сергея Ивановича. Он хотел крикнуть, но не мог, махнул рукой, повернулся и пошел. «Вот она, моя конюшня», — вслух сказал он, внимательно разглядывая черные следы пожарища — торчащие балки, стропила, столбы. Он пошел на пасеку и издали увидел разоренные, перевернутые ульи, услышал тугое гуденье пчел, словно охранявших тело молодого пчеловода, лежащее под ясенем. «Вот она, моя пасека, — сказал он, — вот она, моя пасека». И он стоял, смотрел на темную кучу пчел, вившихся над мертвым телом пчеловода. Он пошел посмотреть колхозный сад, — ни одного яблока, ни одной груши не было на ветвях. Солдаты пилили фруктовые деревья, рубили их топорами, ругая упорные волокнистые поленья. «Грушу и вишню тяжелее всего рубать, — подумал Сергей Иванович, — у них волокно перекручено».

Кухни дымилась в колхозном саду. Повара щипали гусей, счищали бритвами щетину с зарезанных молодых кабанчиков, чистили картофель, морковь, бурачки, при-

несенные из колхозного огорода. Под деревьями лежали сидели десятки, сотни солдат и жевали, жевали, громко чавкая, причмокивая, глотая сок белых антоновских яблок, сахарных рассыпчатых груш. И это чавканье, казалось Сергею Ивановичу, заглушало все звуки: гудки подъезжавших все новых и новых машин, гудение моторов, крик, протяжное мычанье коров, птичий гомон. И, казалось, раздайся с неба гром — и его бы заглушило это могучее торопливое чавканье сотен мерно, весело жующих немецких солдат.

И все мутилось, мутилось в голове у Сергея Ивановича. Он бродил по деревне, не зная, куда и для чего идет. Бабы, видя его, шарахались в сторону, дети забегали в дворы, прятались в густой траве у заборов, мужчины смеялись на него слепыми, невидящими глазами, проходили мимо него, не отвечая на его вопросы; старухи, не боясь смерти, грозили ему сухими коричневыми кулаками и ругали поганым, тяжелым словом. Он шел по деревне и смотрел по сторонам. Черный пиджак его покрылся слоем пыли, потное лицо стало грязным, голова мучительно болела. И ему казалось, что так ломят в висках от тяжелого, крепкого запаха нафталина, все ползущего в его ноздри, что шумит в ушах от дружного, веселого чавканья.

А черные машины все шли, шли в желтой и серой пыли все новые худые немцы соскакивали через высокие черные борта на землю, не дожидаясь, пока откроют задний борт с лесенкой, и разбегались по белым хаткам, лезли в огороды, сады, сараи, птичники.

Сергей Иванович пришел домой и остановился на пороге. Пышный стол, приготовленный им с вечера, был загажен, заблеван, на нем валялись опрокинутые пустые бутылки. Пьяные немцы, шатаясь, бродили по комнатам: один кочергой шупал черное чрево печи, другой, стоя у табуретке, снимал с иконы новые вышитые полотенца, П

решенные накануне вечером. Увидя Сергея Ивановича, он подмигнул и быстро произнес длинную немецкую фразу. Из кухни шло громкое, быстрое, веселое чавканье: немцы ели сало, яблоки, хлеб. Сергей Иванович вышел в сени, там в темном углу, возле кадушки с водой, стояла жена. Страшная боль сжала ему сердце. Вот она, молчаливая, покорная, послушная жена его, ни разу в жизни не перебившая ему, ни разу в жизни не сказавшая ему громкого руганного слова.

— Мотря, бедная моя Мотря, — тихо произнес он и вдруг зашнуровался. На него глядели яркие, молодые глаза.

— Карточки сынов моих хотила унести, — сказала она, он не узнал ее голоса, — а ты ночью их порвав и кынув под печку. — И она навсегда вышла из опоганенного дома.

А Котенко остался в полутемных сенях. Перед ним мелькнул кулак-эстонец в красном, обшитом мехом полуботинке, зачавкал сочно, весело, громко... И, словно в светлом лунном круге, вдруг увидел он Марию Чередниченко, седыми, выбившимися волосами, освещенную пламенем ожара. Жгучая зависть к ней вновь поднялась в нем. Он теперь завидовал не жизни ее, он завидовал ее чистой смерти... На миг открылась ему страшная пропасть, в которую упала его душа. Он начал шарить рукой, отыскивая ведро с веревкой. Ведро по-знакомому грохотнуло, но веревки не было на нем. Ее унесли немцы.

— Нет, брешешь, — пробормотал он и, сняв со штанов ремень, крепкий ремешок, стал тут же, в темноте сеней, надевать петлю, крепить ее к крюку, вбитому над кадушкой.

Х

Ночью на командном пункте полка Мерцалов и Богачев ужинали. Они ели мясные консервы из маленьких ба-

нок. Мерцалов, поднося ко рту кусок мяса с белым застывшим салом, сказал:

— Некоторые их разогревают, но, по-моему, холодным вкусней.

После консервов поели хлеба с сыром, потом начали пить чай. Мерцалов разбил тыльной частью штыка, сломившего им ножом для открывания консервов, большую глыбу сахара. Маленькие осколки сахара летели во все стороны, и начальник штаба тревожно закричал, — несколько острых кусочков попали ему в лицо.

— Да, забыл совершенно, — сказал Мерцалов, — у нас ведь есть малиновое варенье. Как вы относитесь к этому делу, товарищ комиссар?

— Отношусь весьма положительно, — кстати, мое любимое варенье.

— Ну, вот замечательно. А я-то как раз предпочитаю вишневое. Вот это уж варенье!

Мерцалов взял в руки большой жестяной чайник.

— Осторожней, осторожней. Он весь черный, должен быть, кипятили его на костре.

— Кипятили-то его на кухне полевой, а вот подогревал Проскуров на костре, — улыбаясь сказал Мерцалов.

— Да, опыт полевой жизни у вас, товарищ Мерцалов, раз в семьдесят больше моего. Куда варенье? Прямо кружку, проще всего.

Они оба одновременно шумно отхлебнули чай, одновременно подняли головы, глянули друг на друга и улыбнулись.

Эти несколько дней сблизили их; вообще фронтовая жизнь сближает людей стремительно. Прожил с человеком сутки, и уж кажется, все знаешь о нем: привычки его в еде, и на каком боку он любит спать, и не скрипит ли он, упаси бог, во сне зубами, и куда эвакуирована его жена, а подчас узнаешь такое, что в мирное время и за десять лет не разглядишь в самом близком своем

приятеле. Крепка дружба, скрепленная кровью и потом боев.

Попивая чай, Богарев завел разговор на важную тему.

— Как вы считаете, товарищ Мерцалов, удачен ли был наш ночной налет на совхоз, где стояли немецкие танки? — спросил он.

— Ну, как ответить, — усмехаясь сказал Мерцалов, — ночью внезапно ворвались, противник бежал, мы заняли населенный пункт. Нам ордена за это дело полагаются. А вы считаете неудачным, товарищ комиссар? — улыбаясь спросил он.

— Конечно, неудачным, — сказал Богарев, — совершенно неудачным.

Мерцалов приблизился к нему и проговорил:

— Почему?

— Как почему? Танки ушли. Шутка ли: наладь мы получше взаимодействие, ни один танк бы не ушел. А получилось: каждый командир батальона действовал сам по себе, не зная о соседе. Ну, и не получился удар по центру, где танки сосредоточились. Это раз. Теперь второе — немцы начали отступать. Надо было перенести огонь артиллерии на дорогу, по которой они отход совершали, мы бы их там уйму положили, а артиллерия наша после огневого налета замолчала, оказывается, связь с ней порвалась, ну, и не получила новой задачи. Мы их разбить должны были, уничтожить, а они ускользнули.

— Именно, — продолжал Богарев, отсчитывая на пальцах, — тут еще много упущений. Например, надо было часть пулеметов заслать в тыл к ним, ведь вот она роща, прямо для них приготовлена; они бы встретили отступающих, а мы все в лоб, в лоб жали, во фланги по-настоящему не зашли.

— Действительно, — сказал Мерцалов, — они выставили заслончик из автоматов, задержали ваш огонь.

— За что же тут ордена давать? — спросил Богарев и рассмеялся. — Разве за то, что командир полка, известный товарищ Мерцалов, в самый сложный момент, вместо того чтобы управлять огнем и движением винтовок, пулеметов, автоматов, тяжелых и легких пушек, ротных и полковых минометов, сам схватил винтовку и побежал впереди роты? А? А дело было необычайно сложное, тут командиру полка не бегать бы с винтовкой, а думать так, чтобы пот на лбу выступил, принимать быстрые, ясные решения.

Мерцалов отодвинул кружку и обиженно спросил:

— Ну, что еще думаете, товарищ комиссар?

— Думаю я многое, — усмехнулся Богарев. — Оказывается, под Могилевом примерно такая же картина была: батальоны действовали каждый порознь, а командир полка шел в атаку с разведывательной ротой.

— Так, что же еще? — медленно спросил Мерцалов.

— Что же, вывод ясен, в полку нет должного взаимодействия; подразделения, как правило, с запозданием вступают в бой, вообще двигается полк медленно, неповоротливо, связь во время боя работает скверно, из рук вон скверно. Наступающий батальон не знает, кто у него справа, — сосед или противник. Замечательное оружие используется плохо. Минометы, к примеру, вообще в бой не вводятся, их всюду таскают с собой, но, оказывается, многие из них вообще огня не ведут. Полк не применяет фланговых заходов, не стремится в тыл противнику. Жмет в лоб и баста.

— Так, так. Это прямо интересно, — проговорил Мерцалов. — Какой же вывод из всего этого?

— Какой же вывод, — сказал с раздражением Богарев, — вывод, что полк дерется плохо, хуже, чем ему положено.

— Так, так. А вывод, вывод, самый, так сказать, основной? — спрашивал все настойчивей Мерцалов.

Ему, видимо, казалось, что комиссар не захочет сказать последнее слово.

Но Богарев спокойно проговорил:

— Вы человек смелый, не жалеющий своей жизни, но плохо командуете полком. Ну да. Война сложная. Участвуют в ней авиация, танки, масса огневых средств, все это быстро движется, взаимодействует, на поле боя каждый раз возникают комбинации и задачи посложней шахматных, их решать надо, а вы все же уклоняетесь от их решения.

— Значит, не годится Мерцалов?

— Уверен, что годится. Но я не хочу, чтобы Мерцалов думал, что все в порядке, что нечему больше учиться. Если Мерцаловы так будут думать, они немцев не победят. В этой битве народов мало знать арифметику войны; чтобы лупить немцев, надо знать высшую математику.

Мерцалов молчал. Богарев добродушно проговорил:

— Почему же вы чай не пьете?

Мерцалов отодвинул чашку.

— Не хочу,— сказал он мрачно.

Богарев рассмеялся.

— Видите,— сказал он,— у нас сразу установились товарищеские отношения. Я очень был рад этому. Сейчас мы пили чай с чудесным малиновым вареньем. Я вам наговорил разных кислых, противных слов, сорвал, так сказать, чаепитие. Ну вот, думаете, мне приятно, что вы сердитесь, на меня обижены, вероятно, кроете меня самыми крепкими словами? Неприятно. И все же я доволен, от души доволен, что все это происходит. Нам ведь не только дружить, нам побеждать надо. Сердитесь, Мерцалов, это дело ваше, но помните: я вам говорил серьезные вещи, правду я вам говорил.

Он поднялся и вышел из блиндажа.

Мерцалов хмуро глядел ему вслед, потом вдруг вско-

чил, закричал, обращаясь к проснувшемуся начальнику штаба:

— Товарищ майор, слышал, как он меня отчитывал? А? Кто я ему? А? Подумай только! Я Героя Советского Союза получил, у меня четыре ранения в грудь.

Начальник штаба, зевая, сказал:

— Человек он тяжелый, я это сразу определил.

Мерцалов, не слушая его, произнес:

— Нет, это подумать надо. Пьет чай с малиновым вареньем и спокойно так говорит: — Вывод какой? Очень простой: вы, говорит, плохо полком командуете. Ну, что ты ему скажешь? Я даже растерялся, до того неожиданно. Это мне-то, Мерцалову...

XI

Ночью Мерцалова вызвал по телефону командир дивизии полковник Петров. Разговаривать было очень трудно, связь все время нарушалась. Слышимость была на редкость скверной. Под конец разговора связь порвалась окончательно. Мерцалов понял из слов полковника, что обстановка на участке дивизии в последние часы резко ухудшилась. Он приказал разбудить Мышанского и велел ему поехать в штаб дивизии. До штаба было двенадцать километров. Мышанский вернулся через час с письменным приказанием командира дивизии. Немецкая танковая колонна с большим количеством мотопехоты вышла в тыл дивизии, воспользовавшись тем, что болото восточней большого лиственного леса высохло за жаркие и сухие дни августа. Немцы вышли к шоссе, минуя большак, который оборонялся полком Мерцалова. В связи с новой обстановкой дивизия получила приказ занять рубеж обороны южнее занимаемого ею сейчас пункта. Полку Мерцалова с приданным ему гаубичным дивизионом приказано было отходить, прикрывать большак. Мышанский рас-

сказал, что при нем в штабе дивизии уже сматывали связь, снимали шестовку и грузили вещи на машины, что два стрелковых полка, дивизионная артиллерия и гаубичный полк в десять часов вечера уже вытянулись походным порядком, что медсанбат ушел в шесть часов вечера.

— Значит, Анечки не видел? — спросил лейтенант Козлов.

— Какая Анечка! — сказал Мышанский. — При мне приехали делегаты связи, один из штаба армии, второй от правого соседа, майор Беляев, я с ним еще в Бресте встречался, говорит, на их участке день и ночь кровавые бои. Наша артиллерия что-то страшное наворотила, а они прут и прут.

— Да, положение создается крепкое, — сказал начальник штаба.

Мышанский нагнулся к нему и проговорил негромко:

— Это можно одним словом выразить: «окружение».

Мерцалов сердито сказал:

— Бросьте вы об окружении говорить, действовать надо, согласно боевому приказу. — Он обратился к дежурному: — Вызвать командиров батальонов и командира гаубичного дивизиона. Где комиссар? — спросил он.

— Комиссар у саперов, — ответил начальник штаба.

— Попросите его на КП.

Ночь была темной, тихой и очень тревожной. Тревога была в дрожащем свете звезд, тревога тихо шуршала под ногами часовых, тревога темными тенями стояла среди ночных неподвижных деревьев, тревога, поскрипывая сучьями, шла с разведчиками и не оставляла их, когда, пройдя мимо боевого охранения, они подходили к штабу полка. Тревога плескала и журчала в темной воде у мельничной плотины, тревога была всюду — в небе, на земле, на воде. Наступили минуты, когда на каждого входящего в штаб смотрели пытливо, ожидая недоброй вести, когда

далекие зарницы заставляли настораживаться, и от пу-
стого шороха часовые вскидывали винтовки и кричали: —
Стой, стреляю! И в эти минуты Богарев с молчаливым
восхищением наблюдал за Мерцаловым, командиром
стрелкового полка. Он один говорил весело, уверенно,
громко. Он смеялся и шутил. В эти часы ночной тяжелой
опасности вся великая ответственность за тысячи людей,
за пушки, за землю лежала на нем. Он не томился этой
ответственностью. Сколько драгоценных свойств чело-
веческого духа зреют, крепнут за одну такую ночь в
душе человека. И тысячи лейтенантов, майоров, полков-
ников, генералов и комиссаров переживали на протяже-
нии огромного фронта часы, недели, ночи, месяцы этой
великой закаляющей и умудряющей тяжелой ответствен-
ности.

А Мерцалов растолковывал задачу окружавшим его
командирам. Казалось, множество прочных связей уста-
навливалось между ним и людьми, лежавшими в темном
лесу, стоявшими в боевом охранении, дежурившими на
огневых позициях у пушек, глядящими во мрак ночи с пе-
редовых наблюдательных пунктов. Он был весел, спокоен,
прост, этот тридцатипятилетний майор с рыжеватыми во-
лосами, скуластым загорелым лицом, со светлыми, ка-
завшимися то серыми, то голубыми глазами.

— Поднимем по тревоге батальоны? — спросил началь-
ник штаба.

— Пусть еще час поспят ребята. Проснуться бойцу не-
долго, — сказал Мерцалов. — Спят-то, небось, в сапогах.

Он посмотрел на Богарева и проговорил:

— Прочтите приказ от командира дивизии.

Богарев прочел приказ, указывавший полку направле-
ние движения и задачу. — до вечера сдерживать одним
батальоном движение немцев по большаку, а остальными
силами держать переправу через речку Уж.

— Да, вот еще что, — сказал Мерцалов, словно вспом-

нив о каком-то пустяке. Он вытер платком лоб. — Ну и жара, может быть, выйдем, воздухом подышим?

Несколько мгновений они простояли молча в темноте. Мерцалов сказал негромко:

— Вот такая штука. Минут через пятнадцать после того, как Мышанский проехал, немцы перерезали дорогу. Связи со штабом дивизии у меня нет, с соседями тоже. В общем полк в окружении. Я принял решение. Полку идти к переправе, выполнить задачу, а затем пробиваться на соединение, а батальон Бабаджаньяна с гаубицами остается на лесном участке дороги, чтобы сдерживать противника.

Они помолчали.

— Черти, все время трассирующими в небо пускают, — сказал Мерцалов.

— Что же, решение ваше правильное, — сказал Богарев.

— Ну вот, — Мерцалов посмотрел на небо, — ракета зеленая. С батальоном я останусь... Вот еще ракету запустили.

— Ни в коем случае, ни в коем случае, — сказал живо Богарев, — с батальоном должен остаться я, и я вам докажу, почему должен остаться я, а вы должны вести полк.

И он доказал это Мерцалову. Они простились в темноте, Богарев не видел лица Мерцалова, но он чувствовал, что тот помнит тяжелый разговор за чаепитием.

Через час потянулись полковые обозы, лошади бесшумно шагали по дороге, негромко фыркали, точно понимали, что нельзя нарушать тишину тайного ночного движения. Красноармейцы шли молча из темноты и вновь уходили в темноту. Из темноты на них молча глядели те, кто оставался. В этом молчаливом прощании батальонов была великая торжественность и великая печаль.

До рассвета выехали на огневые позиции орудия гау-

бичного дивизиона. Артиллеристы рыли щели, землянки, тащили из леса ветви для маскировки орудий. Командир дивизиона Румянцев и комиссар Невтулов руководили устройством складов боеприпасов. Они выбирали таккоопасные направления и, пытаясь угадать внезапности надвигавшегося боя, устанавливали орудия, прокладывали ходы сообщения, указывали места для рытья окопов. В их налаженном хозяйстве имелись запасы бутылок с горючей жидкостью и тяжелые, как утюги, противотанковые гранаты. Богарев познакомил их с предстоящей задачей.

— Задача тяжелая, — сказал Румянцев, — но бывали у нас и такие задачи.

Он заговорил о тактике немецких танковых атак, о сильных и слабых сторонах немецких пикировщиков и истребителей, об особенностях германской артиллерии.

— У меня есть мины, — сказал Румянцев, — может, заминируем дорогу, товарищ комиссар?

— Тут прямо идеальное место для минирования в километре от совхоза: с одной стороны — овраг, с другой — густая рощица, объездов у противника не будет, — кашляя, добавил Невтулов.

Богарев согласился с ними.

— Сколько вам лет? — спросил он внезапно Румянцева.

— Двадцать четыре, — ответил Румянцев и, как бы оправдываясь, добавил: — Но я воюю с двадцать второго июня.

— Ну, и как воевали? — спросил Богарев.

— Могу дать справку, — сказал Невтулов, — если имеете свободных три минуты, товарищ комиссар.

— Да, да, ты прочти, Сережа. Он ведь у нас ведет такой дневник с первого дня, — сказал Румянцев.

Невтулов вынул из полевой сумки тетрадку. При свете электрического фонарика Богарев увидел, что обложка

тетради украшена затейливо вырезанными накладными буквами из цветной бумаги.

Невтулов начал читать: «Двадцать второго июня полк получил приказ выступить на защиту родины, и в 15.00 первый дивизион капитана Румянцева дал мощный залп по врагу. Двенадцать 152-миллиметровых гаубиц каждую минуту выбрасывали на фашистские головы полторы тонны металла...»

— Хорошо пишет Сережа,— с убеждением сказал Румянцева.

— Читайте дальше,— попросил Богарев.

— «Двадцать третьего полк уничтожил две артиллерийских батареи, три минометных батареи и более полка пехоты, фашисты отступили на 18 километров. В этот день гаубичный полк израсходовал тысячу триста восемьдесят снарядов.

Двадцать пятого июня дивизион капитана Румянцева вел огонь по переправе Каменный Брод. Переправа разбита, уничтожены рота мотоциклистов и две роты пехоты...»

— Ну, и в том же духе изо дня в день,— сказал капитан Румянцева,— неправда ли, он хорошо пишет, товарищ комиссар?

— Воюете вы неплохо, это бесспорно,— сказал Богарев.

— Нет, серьезно, у Сережи литературное дарование,— сказал Румянцева,— он ведь перед войной рассказ целый напечатал в «Смене».

«Здесь порядок,— подумал Богарев,— пойду к Бабаджаньяну».

Когда он отходил, осторожно щупая ногой дорогу, ничего не видя после яркого света фонарика, до него дошел голос Румянцева:

— Бесспорно также то, что завтра нам в шахматшники не играть.

— Куда вы тягачи поставили, Румянцев? — спросил, остановившись, Богарев.

— Все тягачи, грузовики и горючее в лесу, товарищ комиссар, они смогут подъехать к огневым по дороге, не простреливаемой противником, — ответил в темноту Румянцев.

Богарев встретился с Бабаджаньяном на командном пункте. Бабаджаньян рассказал о подготовке батальона к обороне. Богарев, слушая его, поглядывал на черные блестящие глаза, на впалые смуглые щеки командира батальона.

— Почему у вас такие печальные глаза сегодня? — спросил Богарев.

Бабаджаньян махнул рукой.

— Я с начала войны, товарищ комиссар, писем не получал от жены и детей, оставил их в Коломые, в шести километрах от румынской границы. — Он грустно улыбнулся и сказал: — Вот я себе вбил в голову, что завтра день рождения жены и я получу обязательно письмо. Ну, не письмо, то хотя бы какое-нибудь известие. Ждал, ждал этого дня, целый месяц ждал, а сегодня полк в окружение попал. А наша полковая почта плохо работала, когда хорошая связь была. А теперь крест надо ставить, писем долго не будет.

— Да, завтра письма вам не будет, — сказал Богарев задумчиво.

— Интересно, — вдруг сказал он, — мне приходилось часто видеть теперь, что люди семейные, очень любящие своих детей, жен, матерей, воюют как-то особенно хорошо.

— Это верно, — сказал Бабаджаньян, — я вам в батальоне у себя докажу это. Вот один из лучших моих бойцов — Родимцев, и много таких.

— Я знаю еще один пример в вашем батальоне, — сказал Богарев.

— Ну, что вы, товарищ комиссар, — смутился Бабджаньян и оживленно добавил: — А понять это можно — отечественная война!

XII

Немцы пошли с рассветом. Танкисты, открыв верхние люки, жевали яблоки, поглядывали на восходящее солнце. Некоторые из них были в трусах и спортивных рубашках с широкими короткими рукавами, не достоящими до локтей. Головной тяжелый танк шел несколько впереди, командир машины, лышнотелый немец с красной ниточкой кораллов, чертягивающей у локтя его пухлую белую руку, повернул свое большое лицо с крупными веснушками в сторону солнца и зевал. Из-под берета у него выбилась длинная прядь светлых волос. Он сидел на танке, словно идол солдатской самоуверенности, словно бог несправедливой войны. Его танк уже отошел не меньше шести километров от Марчихиной Буды, а железный хвост колонны, еще не успев развернуться, погромыхивал, медленно разворачиваясь на деревенской площади. Быстро, словно стая стремительных щучек, вдруг прынувших меж тяжелых карпов, промчались, обгоняя танки, мотоциклисты. Объезжая танки, они не сбавляли скорости, и их сильно подбрасывало на неровностях дороги, темнозеленые коляски мотались, тряслись, стараясь оторваться от мотоциклов. Проезжая мимо головного танка, согнувшись худые, темнолицые мотоциклисты, загоревшие от езды под солнцем, быстро, не поворачивая головы, поднимали для приветствия руку и вновь прилеплялись к рулевому управлению. Толстяк ленивым движением пухлой руки отвечал на приветствия мотоциклистов. Рота мотоциклистов промчалась вперед, увлекая за собой белые холщевые хвосты пыли. Восходящее солнце окрасило эту пыль в розовый цвет, она, колеблясь, повисала над доро-

гой, и головной танк, деловито жужжа, въезжал в легкое пыльное облако. В высоте, тонко свистя, прошли «Мессершмитты-109». Тонкие стрекозы тела «Мессеров» двигались то вправо, то влево, поднимались вверх, стремительно шли книзу; иногда, обогнав голову танковой колонны, они возвращались назад, быстро делая крутые виражи. Их свист был так пронзительно тонок, что его не могло заглушить низкое могучее рокотание танков. «Мессеры» снижались над каждой рощицей, оврагом, обшаривали участки поля с несжатой пшеницей. Вслед за танками, фыркая, выезжали на дорогу черные трехосные грузовики с мотопехотой. Солдаты сидели рядами на откидных скамьях, все в пилотках набекрень, с черными автоматами в руках. Их машины шли в облаках пыли такой густой, что даже могучее летнее солнце не могло пробить ее. Пыль широким и длинным облаком неслась над полем и рощами, деревья тонули в густом мглистом тумане, и казалось, земля горит в чадном сухом дыму.

Это было классическое движение моторизованных колонн немцев, разработанное и проверенное. Толстяк в берете точно так же сидел на танке, когда в пять часов утра десятого мая 1940 года его головная тяжелая машина пошла по округло обвивавшем холмы шоссе, меж каменных изгородей, среди зеленевших виноградников Франции. Так же мимо него на точно засеченной минуте пронесли мотоциклисты, так же рыскали по небу Франции самолеты из отряда прикрытия. Ранним ясным утром 1 сентября 1939 года шла его машина мимо пограничного знака на польской дороге, среди высоких буковых стволов, и тысячи быстрых солнечных пятен бесшумно прыгали по черной броне. Так всей тяжестью въехала колонна танков на Белградское шоссе, и смуглое тело Сербии хрустнуло, забилося под быстрыми гусеницами. Так вырвался он первым из прохладного полутемного ущелья и

увидел ярко-синее пятно Салоникского залива, скалисто-го берега... И он позевывал, привычный ко всему, этот идол неправедной войны, чьи фотографии печатались во всех мюнхенских, берлинских, лейпцигских иллюстрированных газетах и журналах.

С восходом солнца командиры поднялись на вершину холма. Бабаджаньян попросил у Румянцева бинокль и внимательно оглядел дорогу. Богарев смотрел на картину утренней радости мира, встававшего после ночи в прохладе, росе, легком тумане, среди коротких, робких стрекотаний кузнечиков. Деловито и хмуρο прошел, увязая в песке, черный жук, шли на работу муравьи, стайка птиц прыснула с ветвей дерева и, попробовав выкупаться в едва нагретшейся от первых прикосновений солнца пыли, с криком полетела к ручью.

Необычайно сильны впечатления войны для человека. Вечный мир природы меркнет перед образами, порожденными войной, и людям на холме казалось, что легкие облачка в небе — это следы разрывов зенитных снарядов; что далекие тополи — высокие черные столбы дыма и земли, поднятые тяжелыми авиабомбами, что косяки журавлей, идущие по небу, — это строгий строй боевых эскадрилий, что туман в долине — это дым горящих деревьев, что кустарники, растущие вдоль дороги, — это замаскированная ветвями автомобильная колонна, ждущая сигнала к отправлению. Не раз приходилось Богареву слушать во время воздушных налетов в вечерних сумерках: «Смотрите, ракету красную немец сбросил», — и насмешливый ответ: «Да нет, какая ракета, это вечерняя звезда». Не раз далекие зарницы в душные летние вечера принимались за вспышки орудийной пальбы... И сейчас, когда с восточной стороны неба прямо с вершин деревьев понеслись стремительные черные галки, показалось, что это самолеты идут, рассыпав строй. «Чорт их знает, — сказал Невтулов, —

надо бы галкам запретить летать перед немецкой атакой».

А через несколько секунд, словно сорвавшиеся с вершин деревьев птицы, показались самолеты. Они шли низко над землей, окрашенные в темный цвет, стремительно быстрые, вдруг заполнившие воздух своим тугим гудением.

И по склону холмов, где расположились в блиндажах и окопах красноармейцы, замахали приветственно пилотками, руками: батальон увидел красные звезды на крыльях машин.

— Наши, наши штурмовики! — сказал Бабаджаньян.

— Идут «илы», на штурмовку, — сказал Румянцев. — глядите, глядите, ведущий покачивает крыльями, говорит: вижу противника, иду в атаку.

Хороша и сильна дружба оружия. Ее испытали и проверили люди фронта. Сладок и радостен грохот артиллерии, поддерживающий в бою свою пехоту, вой снарядов, летящих в ту сторону, куда идут атакующие войска. Это поддержка не только силой, это поддержка души и дружбы.

Но в этот день, кроме утреннего привета самолетов, не пришлось батальону иметь поддержки. Он был один на поле сражения...

* * *

В поле, метрах в десяти от большака, среди придорожного бурьяна, вырыты ямы. В этих ямах по грудь в земле стоят люди в серо-зеленых гимнастерках, в пилотках с красными звездами. На дне ямы установлены хрупкие стеклянные бутылки, к краю ямы прислонены винтовки. В карманах брюк у красноармейцев — красные кисеты с махрой, смятые во время сна коробки спичек, сухарики и

куски сахара, в карманах гимнастеров—потертые листки деревенских писем от жен, огрызки карандашей, завернутые в обрывки армейской газеты, запалы для гранат. На боку у людей, стоящих по грудь в земле,— брезентовые сумочки, в этих сумочках гранаты. Если посмотришь, как рылись эти ямы, то увидишь: вот два друга жались один к другому, вот пять земляков, стараясь был поближе, выкопали свои ямки одна к одной. И хоть сержант говорил: «Не лепитесь, ребята, так близко, не полагается»,— но ведь в грозный час германской танковой атаки сладко увидеть рядом потное лицо друга, крикнуть: «Не бросай бычка, я дотяну»,— и почувствовать вместе с горячим дымом тепло и влагу смятой губами, надкусанной самокрутки.

Они стоят по грудь в земле, перед ними пустое поле и пустая дорога; вот пройдет двадцать минут, и стремительные, весящие две тысячи пудов, пушечные танки вырвутся со скрежетом, в крутящихся облаках пыли: «Идут! — крикнет сержант.— Идут, ребята, смотри!»

За их спиной, на склоне холма,— пулеметчики в блиндажах, еще выше и дальше, за спиной пулеметчиков, в окопах сидят стрелки, дальше, за их спиной,— огневые позиции артиллерии, а там, дальше,— командный пункт, медсанбат... А дальше, все дальше за их спиной,— штабы, аэродромы, резервы, дороги, заставы, леса, затемненные ночью города и станции, там Москва, и еще дальше, все за их спиной,— Волга, освещенные ночью ярким электрическим светом тыловые заводы, стекла без бу-
мажных полос, освещенные белые пароходы на Каме. Вся великая земля за их спиной. Они стоят в своих ямах, и нет никого впереди них. Они курят самокрутки из армейской газеты, они проводят ладонью по карманам гимнастеров и ощупывают мятые, стертые на сгибах листки писем. Облака над ними, пролетит птица и скроется, они стоят по грудь в земле и ждут, всматриваются. Им отра-

жать натиск танков. Их глаза уже не видят друзей, их глаза ждут врага. Пусть же те, кто сегодня стоят позади них, вспомнят, когда придет день победы и мира, об истребителях танков, о людях в зеленых гимнастерках с хрупкими бутылками горючей жидкости, с брезентовыми сумочками для гранат на боку... Пусть уступят им место на лавке в зеленом вагоне, пусть поделятся с ними кляпком в дороге.

Слева широкий противотанковый ров, укрепленный толстыми бревнами, тянется от заболоченной речки к дороге, справа от дороги — лес.

Родимцев, Игнатъев, московский комсомолец Седов стоят в земле, смотрят на дорогу. Их ямы близко одна от другой. Справа от них через дорогу стоит Жавелев, старшина Морев, младший политрук Еретик — начальник группы добровольцев, истребителей танков. За их спиной два пулеметных расчета, Глаголева и Кордахина. Если всмотреться, то видны пулеметы, глядящие из темной древесно-земляной пещеры на дорогу; правее и сзади — артиллеристы-наблюдатели, шуршащие среди начавших увядать дубовых ветвей, вкопанных в землю.

— Эй, истребители, пошли рыбу ловить, с утра клюет хорошо! — кричит артиллерист-наблюдатель.

Но истребители не поворачивают к нему головы, ему, конечно, веселей, чем им: перед ним противотанковый ров, слева между ним и дорогой — широкие спины истребителей в обесцвеченных соленым потом гимнастерках. Глядя на эти спины, загоревшие черно-красные затылки, наблюдатель шутит.

— Покурим, что ли? — спрашивает Седов.

— Можно, пожалуй, — говорит Игнатъев.

— Возьми моего, злей, — предлагает Родимцев и бросает Игнатъеву плоскую бутылочку из-под одеколона, наполовину заполненную махоркой.

— А ты что, не будешь?—спрашивает у него Игнатъев.
— Горько во рту, накурился, я лучше сухарик пожую.
Дай-ка твоего, белей.

Игнатъев кидает ему сухарь, Родимцев тщательно сдувает с сухаря мелкий песок и табачную пыль и начинает жевать.

— Хоть бы скорей,— говорит Седов и затыгивается,— хуже нет, как ждать.

— Наскучил?..— спрашивает Игнатъев.— Гитару я забыл взять.

— Брось шутить-то,— сердито говорит Родимцев.

— А ведь страшно, ребята,— говорит Седов,— дорога эта стоит белая, мертвая, не шелохнется. Вот сколько жить буду, забыть не смогу.

Игнатъев молчит и смотрит вперед, слегка приподнявшись, опершись руками о края своей ямы.

— Я в прошлом году, как раз в это время, в дом отдыха ездил,— говорит Седов и сердито плюет. Его раздражает молчанье товарищей. Он видит, что Родимцев, совершенно так же, как Игнатъев, смотрит, слегка вытянув шею.

— Старшина, немцы! — протяжно кричит Родимцев.

— Идут! — говорит Седов и негромко вздыхает.

— Ну, пылища,— бормочет Родимцев,— как от тыщи быков.

— А мы их бутылками! — кричит Седов и смеется, плюет, матерится. Нервы его напряжены до предела, сердце колотится бешено, ладони покрываются теплым потом. Он их вытирает о шершавый край песчаной ямы.

Игнатъев молчал и смотрел на вздыбившуюся над дорогой пыль.

На командном пункте запищал телефон. Румянцев взял трубку. Говорил наблюдатель: передовой отряд немецких

мотоциклистов напоролся на минированный участок дороги. Несколько машин взорвалось на правом и левом объездах, но сейчас немцы снова движутся по дороге.

— Вот они, смотрите! — сказал Бабаджаньян. — Сейчас мы их встретим.

Он вызвал к телефону командира пульроты лейтенанта Косюка и приказал, подпустив мотоциклы на близкую дистанцию, открыть огонь из станковых пулеметов.

— Сколько метров? — спросил Косюк.

— Зачем вам метры? — сказал Бабаджаньян. — До сухого дерева, с правой стороны дороги.

— До сухого дерева, — сказал Косюк.

Через три минуты пулеметы открыли огонь. Первая очередь дала недолет — по дороге поднялись быстрые пыльные облачка, словно длинная стая воробьев торопливо купалась в пыли. Немцы с хода открыли огонь, они не видели цели, но плотность этого неприцельного огня была очень велика, — воздух зазвучал, заполнился невидимыми смертными струнами, пылевые дымки, сливаясь в стелющееся облако, поползли вдоль холма. Сидевшие в окопах и блиндажах красноармейцы пригнулись, опасно поглядывая на поющий над ними голубой воздух.

В это время станковые пулеметы послали очереди точно по мчавшимся мотоциклистам. Мгновенье тому назад казалось, что нет силы, могущей остановить этот грохочущий выстрелами летучий отряд. А сейчас отряд на глазах превращался в прах, машины останавливались, валились набок, по инерции колеса разбитых мотоциклов продолжали вертеться, подымая пыль. Уцелевшие мотоциклисты повернули в поле.

— Ну, что? — спрашивал Бабаджаньян у Румянцева, — Ну, что, товарищи артиллеристы, плохие у нас, скажете, пулеметчики?

Вслед мотоциклистам неслась частая винтовочная стрельба. Молодой немец, припадая на раненую, либо ушибленную, ногу, выбрался из-под опрокинутой машины и поднял руки. Стрельба прекратилась. Он стоял в порванном мундире, с выражением страдания и ужаса на грязном, исцарапанном в кровь лице и вытягивал, вытягивал руки кверху, точно яблоки хотел сорвать с высокой ветки. Потом он закричал и, медленно ковыляя, шевеля поднятыми руками, побрел в сторону наших окопов. Он шел и кричал, и постепенно хохот перекатывался от окопа к окопу, от блиндажа к блиндажу. С командного пункта была хорошо видна фигура немца с поднятыми руками, и командиры не могли понять, почему поднялся хохот среди бойцов. В это время позвонил телефон, и с передового НП объяснили причину внезапной веселости.

— Товарищ командир батальона,— жалобно, от душившего его смеха, сказал в трубку командир пулеметной роты Косюк,— той немец ковыляе и кричить, як оглашенный: «Рус, сдавайся!»— а сам руки подняв.. Он со страху уси руськи слова перепутав.

Богарев, смеясь вместе с другими, подумал: «Это все здорово хорошо, такой смех, когда приближаются танки, это хорошо»,— и спросил Румянцева:

— Все ли у вас готово, товарищ капитан?

Румянцев ответил:

— Все готово, товарищ комиссар. Данные заранее подготовлены, орудия заряжены, мы покроем сосредоточенным огнем весь сектор, по которому пойдут танки.

— Воздух! — протяжно прокричали сразу несколько человек. И одновременно запищали два телефонных аппарата.

— Идут, головной в двух тысячах метрах от нас,— сказал, растягивая слова, Румянцев. Глаза его стали строги, серьезны, а рот все еще продолжал смеяться.

Самолеты и танки показались почти одновременно. Низко над землей шла шестерка «Мессершмиттов-109», над ними — два звена бомбардировщиков, еще выше, примерно на высоте полутора тысяч метров, — звено «Мессершмиттов».

— Классическое построение перед бомбежкой, — пробормотал Невтулов, — нижние «Мессеры» прикрывают выход из пике, верхние прикрывают вхождение в пике. Сейчас дадут нам жизни.

! — Придется демаскироваться, — сказал Румянцев, — ничего не напишешь, но мы им крепко дадим прикурить. — И он приказал командирам батарей открыть огонь.

«Огонь!» — послышалась далекая команда, и на несколько мгновений все звуки угасли, и лишь грохотали в ушах оглушительные молоты залпов. И сразу поднялся пронзительный шелестящий ветер пошедших к цели снарядов. Казалось, что целые роши высоких тополей, осин, берез зашелестели, зашумели миллионами молодых листьев, гнутся, раскачиваются от могучего, налетевшего на них ветра. Казалось, ветер рвет свою крепкую, гибкую ткань на тонких ветвях, казалось, в своем стремительном ходе поднятый сталью ветер увлечет за собой и людей, и самую землю. Издали послышались разрывы. Один, второй, несколько слитных, потом еще один.

Богарев услышал в трубку далекий голос, называвший данные для стрельбы. В интонациях этих протяжных голосов, говоривших одни лишь цифры, выражалась вся страсть битвы. Цифры торжествовали, цифры неистовствовали — цифры, ожившие, цепкие. И вдруг голос, проносивший данные для стрельбы, сменился другим. «Лозенко, ты в землянцы брав почату пачку махорки?» — «Ну, брав, а ты хйба не брав у мене?» — И снова коман-

дирский голос, выкрикивавший данные, и второй, повторяющий их.

А в это время бомбардировщики кружились, выискивая цели. Невтулов побежал на огневые позиции.

— Огня не прекращать при любых условиях! — крикнул он командиру первой батареи.

— Есть не прекращать огня, — ответил лейтенант, командовавший батареей.

Два «Юнкерса» над огневыми позициями перешли в пики. Зенитные учетверенные пулеметы пускали по ним очередь за очередью.

— Смело пикируют, — сказал Невтулов, — ничего не скажешь.

— Огонь! — закричал лейтенант.

Трехорудийная батарея дала залп. Грохот залпа смешался с грохотом разорвавшихся бомб. Тучи земли и песка прикрыли артиллеристов.

Утирая потные и грязные лица, они уже вновь зарядили орудия.

— Морозов, цел? — крикнул лейтенант.

— Вполне цел, товарищ лейтенант, — ответил наводчик Морозов, — наша веселей, товарищ лейтенант.

— Огонь! — скомандовал лейтенант.

Остальные самолеты кружили над передним краем, отсюда слышались пулеметные очереди и частые разрывы бомб.

Артиллеристы-огневики работали со злым упорством, со стремительной страстью: в их слаженных движениях, объединенных братством помысла и усилий, выражалась торжественная мощь общего труда. Тут уже работали не отдельные люди — худой грузин — досылающий, плечистый, низкорослый татарин — подносчик, еврей — правильный, черноглазый украинец — заряжающий, прославленный мастер-наводчик Морозов. Здесь работал один

человек. Он мельком глядел на вышедших из пике «Юнкерсов», делающих боевой разворот и вновь идущих на бомбежку батареи, он утирал пот, усмехался, ухал вместе с пушкой, опять делал свое умное, сложное дело, стуркий, быстрый, неудержимый, смывший благородным трудовым потом все следы боязни со своего лица. Он, этот человек, работал и на втором, третьем орудии первой батареи и на орудиях второй батареи. Он не останавливался, не ложился, не бежал к блиндажу, когда выли бомбы, он не переставал трудиться под чугунными ударами разрывов, он не останавливался радостно глазеть, когда закричали бойцы, лежавшие в резерве третьей роты: «Подбили зенитчики, пошел книзу, горит!» — Он не терял времени, он работал. Для всех этих слитых воедино людей было лишь одно слово: «огонь!» И это слово, соединенное с их трудом, рождало огонь.

И наводчик Морозов, вихрастый, веснучатый, кричал: «Наша веселей!» А управленцы, выдавшие сокрушительную работу огневиков, все сыпали в этот огонь цифры и цифры.

Снаряды начали рваться среди танковой колонны совершенно неожиданно для немцев. Первый снаряд попал в башню тяжелого танка и разнес ее. С наблюдательного пункта видно было в бинокль, как танкисты, высунувшиеся из люков, быстро и юрко прятались в машины.

— Словно суслики в норы лезут, товарищ лейтенант, — сказал разведчик, сидевший на артиллерийском НП.

— Да, действительно похоже, — сказал лейтенант и кивнул телефонисту: — Огуреченко, крути четвертый.

Лишь толстяк, сидевший на головном танке, не спрятался в люк. Он помахал рукой, перетянутой красной ниткой кораллов, словно подбадривал машины, идущие сзади. Потом он достал из кармана яблоко и надкусил. Колонна, не нарушая строя, двигалась дальше. Лишь в тех местах, где подбитые машины становились поперек

дороги, водители объезжали горящие и разбитые танки. Часть машин, не возвращаясь на дорогу, шла полем.

В двух километрах от укрепленного рубежа танки рассыпали походный порядок и пошли развернутым строем. Стиснутые справа лесом, слева рекой, они шли довольно плотной массой в несколько рядов. На дороге горело около двадцати машин.

Огонь русской артиллерии широким веером ложился на поле, танки начали отвечать, первые снаряды пронеслись над истребителями и взорвались в расположении пехоты, окопавшейся на склоне холма. Затем немцы перенесли огонь выше — очевидно, пытались подавить русскую артиллерию. Большая часть танков остановилась. В воздухе появился «горбач» — корректировщик. Он установил радиосвязь с танками. Радист на командном пункте произнес, жалуясь:

— Словно молоток мне, товарищи, в уши стучит немец: гут, гут, гут.

— Ничего, ничего,— сказал Богарев,— гут, да не очень.

Бабаджаньян негромко сказал Богареву:

— Сейчас танки пойдут в атаку, товарищ комиссар, я уже эту тактику знаю, в третий раз вижу.— Он приказал по телефону ввести в бой минометы и добавил: — Вот вам и полевая почта в день рождения жены.

— На случай прорыва следовало бы отвести артиллерию,— сказал лейтенант-артиллерист.

Но Румянцев раздраженно проговорил:

— Если мы начнем отводить орудия, то немцы наверное прорвутся и погубят дивизион. Разрешите, товарищ комиссар, выдвинуть вперед две батареи и открыть огонь прямой наводкой.

— И немедленно, не теряя секунды,— волнуясь, прогово-

ворил Богарев. Он понимал, что наступила решающая минута.

Немцы, очевидно, связали прекращение огня с отходом артиллерии и усилили обстрел. Через несколько минут танки по всей линии перешли в атаку. Они шли на больших скоростях, стреляя с хода из пушек и пулеметов.

Несколько красноармейцев, пригнувшись, побежали от верхнего блиндажа, один из них упал, пораженный случайной пулей, остальные, еще ниже пригнувшись, бежали мимо командного пункта.

Бабаджаньян вышел к ним навстречу.

— Куда, куда? — закричал он.

— Танки, товарищ капитан! — задыхаясь, проговорил красноармеец.

— Что у вас, живот болит? Зачем согнулись? — злобно закричал Бабаджаньян. — Выше голову! Идут танки, их надо встречать, а не бегать, как зайцы. Назад, шагом марш!

В это время гаубицы открыли огонь. Лишь теперь огневики увидели врага. Удары тяжелых снарядов были потрясающе сильны. От прямых попаданий танки расплзались, металл корчился, пламя вырывалось из люков, столбами поднималось над машинами. Но не только прямые попадания, тяжелые осколки могучих снарядов пробивали броню, калечили гусеницы; машины жужжали, вертятся вокруг своей оси.

— Неплохая у нас артиллерия, — кричал на ухо командиру батальона Румянцев, — а, товарищ Бабаджаньян, неплохая?!

На всем поле атака танков была приостановлена. Но в той полосе, где проходил большак, немцам удалось продвинуться вперед. Тяжелый головной танк, стреляя из пушки и строча всеми своими пулеметами, ворвался на участок, где засел отряд истребителей. За ним стремительно шли четыре машины,

Огонь артиллерии ослабел: два орудия были подбиты и не могли вести стрельбы, третье прямым попаданием снаряда было совершенно искорежено, санитары унесли тяжело раненых артиллеристов. Тела убитых сохранили в себе устремление боевого труда — люди погибли, работая до последнего вздоха.

— Ну, ребята, пришло время... Горько ли, тошно,—стой на месте! — закричал Родимцев.

Они трое взялись за бутылки с горючей жидкостью.

Седов первым поднялся из ямы. Головной танк шел прямо на него. Пулеметная очередь попала Седову в грудь, голсу, и он рухнул на дно ямы.

Игнатьев видел гибель товарища. Над головой его с воем промчалась пулеметная очередь, врезалась в землю, танк прошел совсем близко, он отшатнулся даже; на мгновение мелькнуло у него воспоминание, как он мальчишкой стоит на станции, куда с отцом возили пассажира, и мимо, обдав теплом, запахом горячего масла, с грохотом промчался паровоз курьерского поезда. Он распрямился, бросил бутылку и сам подумал почти с отчаянием: «Ну, что ты паровозу литровой сделаешь?» Бутылка угодила в башню; легкое, подвижное пламя сразу же взвыло, подхваченное ветром. В этот миг Родимцев бросил связку гранат под гусеницы второй машины. Игнатьев снова бросил бутылку. «Этот поменьше будет,— мелькнула у него хмельная мысль.— В такой и пол-литром можно!»

Огромный головной танк вышел из строя. Очевидно, водитель пытался его развернуть, но из-за пожара не успел этого сделать. Верхний люк открылся, поспешно полезли немцы с автоматами, прикрывая от пламени лица, начали прыгать на землю.

Словно инстинкт подсказал Игнатьеву: «Вот этот убил Седова».

— Стой! — закричал он и, схватив винтовку, выскочил из ямы.

Огромный, плечистый и толстый немец, с рукой, перехваченной ниткой кораллов, один остался в поле. Остальные члены его экипажа, согнувшись, бежали по заросшему бурьяном кювету. Немец один остался стоять во весь свой большой рост. Увидев Игнатьева, бежавшего к нему с винтовкой, он приложил автомат к пузу и застрочил. Почти вся очередь прошла мимо Игнатьева, но последние пули ударили по винтовке, расщепили приклад. На мгновение Игнатьев остановился, потом бросился к немцу. Немец пытался перезарядить автомат, но увидал, что не успеет этого сделать: он не струсил, по всему видно было, что он не трус, — одновременно тяжелым и легким шагом пошел он на Игнатьева.

У Игнатьева потемнело в глазах, — но этот человек убил Седова, он сжег в одну ночь большой город, он убил красавицу девушку-украинку, он топтал поля, рушил белые хаты, он нес позор и смерть народу.

— Эй, Игнатьев! — слышался откуда-то издали голос старшины.

Немец верил в свою силу и храбрость, он проходил многолетнюю гимнастическую тренировку, он знал жестокие и быстрые приемы борьбы.

— Ком, ком, Иван! — говорил он.

Он словно пьянел от величия своей позы, один среди горящих танков, под грохот разрывов он стоял монументом на завоеванной земле, он, прошедший по Бельгии, Франции, топтавший землю Белграда и Афин, он, чью грудь сам Гитлер украсил «железным крестом».

Словно возродились древние времена поединков, и десятки глаз смотрели на этих двух людей, сошедшихся на исковерканной битвой земле. Туляк Игнатьев поднял руку: страшен и прост был удар русского солдата: не в

грудь ударил он врага, он поступил так, как велело ему сердце. Он ударил врага кулаком по лицу.

— Гад, с девчатами воюешь! — хрипло закричал Игнатьев.

Коротко и сухо треснул винтовочный выстрел. Это стрелял Родимцев.

Немецкая атака была отбита. Четыре раза переходили немецкие танки и мотопехота в атаку. Четыре раза поднимал Бабаджаньян батальон против немцев, бойцы шли с гранатами и с бутылками горючей жидкости.

Хрипло кричали команду артиллерийские начальники, но реже и реже гремели голоса пушек.

Просто умирали люди на поле сражения.

— Не играть нам с тобой, Вася, больше, — сказал политрук Невтулов. Крупнокалиберная пуля попала ему в грудь, кровь текла изо рта при каждом вздохе. Румянцев поцеловал его и заплакал.

— Огонь! — закричал командир батареи, и в грохоте пушек потонул последний шопот Невтулова.

Смертельно был ранен в живот Бабаджаньян во время четвертой атаки немецких танков. Бойцы положили его на плащ-палатку и хотели вынести из боя.

— У меня еще есть голос, чтобы командовать, — сказал он.

И пока не была отбита атака, его голос слышали бойцы. Он умирал на руках у Богарева.

— Не забывай меня, комиссар, — сказал он, — за эти дни ты для меня стал другом.

Умирали бойцы. Кто расскажет об их подвигах? Лишь быстрые облака видели, как бился до последнего патрона боец Рябокоть, как, уложив десять врагов, взорвал себя холодеющей рукой политрук Еретик, как, окруженный немцами, стрелял до последнего вздоха красноармеец Глушков, как, истекая кровью, бились пулеметчики Глаголев и Кардахин, пока слабеющие пальцы могли нажи-

мать на спусковой крючок, пока меркнувший взор в знойном тумане видел боевую цель.

Велик народ, чьи сыновья умирают свято, просто и сурово на необозримых полях сражения. О них знают небо и звезды, их последние вздохи слышала земля, их подвиги видела несжатая рожь и придорожные рощи. Они спят в земле, над ними небо, солнце и облака. Они спят крепко, спят вечным сном, как спят их отцы и деды, всю жизнь трудившиеся плотники, землекопы, шахтеры, ткачи, крестьяне великой земли. Много пота, много тяжелого, подчас непосильного труда отдали они этой земле. Пришел грозный час войны, и они отдали ей свою кровь и свою жизнь. Пусть же эта земля славится трудом, разумом, честью и свободой. Пусть не будет слова величавей и святей, чем слово «народ»!

Ночью, после похорон погибших, Богарев пошел в блиндаж.

— Товарищ комиссар, — сказал дежуривший у блиндажа красноармеец, — посыльный пришел.

— Какой посыльный? — удивленно спросил Богарев. — Откуда?

Вошел небольшого роста красноармеец с сумкой и винтовкой.

— Откуда вы, товарищ боец?

— Из штаба дивизии, почту принес.

— Как же вы прошли, ведь дорога отрезана?

— Пробрался, товарищ комиссар, километра четыре в пузе полз, через речку перебравался ночью, немца-часового застрелил, вот погон с него принес.

— Страшно было пробираться? — спросил Богарев.

— Да чего мне бояться? — усмехаясь, сказал красноармеец. — У меня душа дешевая, как балалайка, я за нее не боюсь, я ей цену положил — пять копеек. Чего же за нее бояться?

— Будто так? — серьезно спросил Богарев. — Будто так?

Красноармеец, усмехаясь, молчал.

Первое письмо было из Еревана — Бабаджаньяну. Богарев посмотрел на обратный адрес — письмо пришло от жены Бабаджаньяна.

Командиры роты Овчинников и Шулейкин, политрук Махоткин, быстро перебирая письма, негромко говорили: «Этот есть... убит... убит... этот есть... убит...» — и откладывали письма убитым в отдельную стопку.

Богарев взял письмо Бабаджаньяну и пошел к его могиле. Он положил письмо на могильный холм, прикрыл его землей, придавил сверху осколком снаряда.

Долго простоял он над могилой комбата.

— Когда же мне придет твое письмо, Лиза? — спросил он вслух.

В три часа утра пришла коротенькая шифровка по радио. Командующий армией благодарил бойцов и командиров за мужество. Потери, нанесенные ими немецким танкам, огромны, они блестяще выполнили задачу и задержали движение мощной колонны. Остаткам батальона и артиллерии предложено было отходить.

Богарев знал, что отходить некуда, разведка донесла о ночном движении немцев по проселочным дорогам, пересекающим большак.

С тревожными вопросами подходили к нему командиры. «Мы в окружении», — говорили они.

После гибели Бабаджаньяна он один должен был решать. Фразу, которую часто любят говорить на фронте: «Я познакомился с обстановкой и принял решение», даже в тех случаях, когда речь идет о ночевке или обеде, теперь впервые торжественно произнес Богарев, обращаясь к командирам и политрукам, собравшимся в блиндаже. Он внутренне подивился, проговорив эти слова, и полу-

мал: «Вот бы Лиза меня увидала». Да, часто хотелось ему, чтобы Лиза посмотрела на него.

— Товарищи командиры, решение мое таково,— сказал Богарев,— мы отходим в лес. Там мы отдохнем, организуемся и с боем пробьемся к реке для переправы на восточный берег. Своим заместителем назначаю капитана Румянцева. Выступаем мы ровно через час.

Он оглядел утомленные лица командиров, суровое, постаревшее лицо Румянцева и совсем другим голосом, напомнившим ему самому довоенную Москву, сказал:

— Друзья мои, так кровью и огнем куется наша победа. Почтим вставанием погибших в сегодняшнем бою наших верных друзей — красноармейцев, политработников и командиров.

XIV

Штаб фронта стоял в лесу. В шалашах и крытых зеленою землянках жили сотрудники оперативного, разведывательного отделов, Политуправления и фронтового интендантства. Под густым орешником стояли канцелярские столы, посыльные ходили сказочными тропинками, покрытыми жолудями, и наливали в чернильницы чернила; по утрам треск пишущих машинок под влажной от росы листвой заглушал пение птиц; меж густых зарослей видны были белокурые женские голсы, слышался женский смех и мрачные голоса канцеляристов. В сумрачном высоком шалаше стояли огромные столы с картами, вокруг шалаша ходили часовые, караульный у входа накалывал разовые пропуска на гвоздик, прибитый к старой дуплистой осине. Ночью гнилые пни светились голубоватым светом. Штаб всегда жил своей неизменной жизнью, помещался ли он в старинных залах польского вельможи, или в избах большого села, или в лесу. А лес жил своей жизнью: белки делали зимние запасы и, озоруя,

роняли на головы машинисток жолуди, дятлы долбили древесину, выколачивая червей, коршуны прочесывали вершины дубов, осин, лип, молодые птицы пробовали силу своих крыльев, многомиллионный мир рыжих и черных муравьев, жуков-носорогов, жужелиц спешил и работал.

Иногда в ясном небе появлялись «Мессершмитты», они кружили над лесным массивом, высматривая войска и штабы.

«Во-о-оздух!» — кричали тогда часовые. Машинистки убирали со столов бумаги, накидывали на голову темные платочки, командиры снимали фуражки, чтобы блеск козырьков не был замечен, штабной парикмахер торопливо сворачивал белую простыню и стирал мыльную пену с недобритой щеки клиента, официантки ветвями прикрывали тарелки, приготовленные к обеду. Становилось тихо, слышно было лишь гудение моторов, да из сосновой рощи на песчаном пригорке, где находилось артиллерийское управление, раздавался сочный веселый голос розовощекого артиллерийского генерала, распекавшего своих подчиненных.

И так же, как в полутемном сводчатом зале дворца, в лиственный шалаш, где заседал Военный Совет, приносили тарелку зеленых яблок для командующего и коробки «Северной Пальмиры» для участников заседания.

Штаб фронта находился в сорока километрах от передовых позиций. По вечерам, когда стихал ветер и переставали гудеть вершины деревьев, ясно слышна была в лесу артиллерийская стрельба. Начальник штаба считал, что штаб надо отвести по крайней мере на семьдесят—восемьдесят километров вглубь, но командующий медлил, — ему нравилась близость к фронту, он много выезжал в дивизии и полки, мог непосредственно наблюдать ход боя, а через сорок минут находиться в штабе, у большой карты с обстановкой.

В этот день в штабе с утра тревожились. Немецкие танковые колонны подошли к реке. Среди штабных прошел слух, что по эту сторону реки видели мотоциклистов, они, очевидно, переправились на больших плоскодонных лодках и проехали до опушки леса, в котором стоял штаб. Когда комиссар штаба доложил об этом командующему, Еремин стоял у орехового куста и обирал спелые орехи.

Пришедшие с комиссаром штабные командиры пытливы и тревожно наблюдали за лицом командующего, но известие не произвело на Еремина впечатления. Он кивнул в знак того, что слышал слова комиссара штаба, и сказал своему адъютанту:

— Лазарев, пригни-ка эту ветку, — видишь, на ней десятка три орехов уселось.

Стоявшие вокруг командиры внимательно наблюдали, как трудолюбиво Еремин обирал орехи с ветки. Глаза, видимо, были у него хороши, — он не пропустил ни одного орешка, даже из тех, что хитро и умело прятались в своих зеленых ячейках меж шершавых листьев орешника. Этот урок спокойствия длился довольно долго.

Затем командующий быстро подошел к ожидавшим его начальникам отделов и сказал:

— Знаю, знаю, зачем сюда пришли. Штаб остается на месте, никуда передвигаться не будет. Извольте впредь являться лишь по моему вызову.

Смущенные начальники ушли. Через несколько минут адъютант доложил, что у телефона командующий армейской группы Самарин.

Еремин пошел в шалаш.

Он слушал, что говорит Самарин, и повторял время от времени: «Так, так». И тем же голосом, которым говорил это «так, так», произнес:

— Вот что, Самарин, убыль в частях — сама собой, а

задачу я вам поставил, и если вы останетесь один, то все равно задачу вы выполните. Поняли?

Командующий сказал:

— Очень хорошо, что поняли,— и повесил трубку.

Чередниченко, слушавший этот разговор, сказал:

— Самарину, видно, трудно. Он зря не станет говорить.

— Да, Самарин железный человек,—сказал командующий.

— Это верно, железный, но я все-таки к нему завтра съезжу, к железному.

— А денек-то, денек какой! — сказал командующий.— Орехов не хочешь? Сам собирал.

— Я видел, — усмехнувшись, сказал Чередниченко и взял горсть орехов.

— Видел? — оживленно сказал командующий.—Услышали про мотоциклистов и решили, что я буду штаб с места снимать.

— Ничего, ничего, — проговорил Чередниченко, — я с две сотни людей в памяти держу и вижу: приедет представляться — гимнастерка новенькая, лицо белое, руки белые, и глаза неустойчивые; сидел, вижу, в академии или еще где-нибудь. А с каждым днем меняется: нос лунится, а дальше загорят руки, гимнастерка уже не топорщится, лицо от солнца закалится, даже брови выгорят. Ну, смотришь человека, пробуешь и видишь: кожа от солнца и ветра потемнела и внутри он закалкой взят...

— Да, да, — сказал командующий, — все это очень хорошо. Но я, сознаться, даже не ставлю людям в заслугу, что они воевать научились, закаляются, привыкли. Что за заслуга такая? Военные, черт возьми, люди!

Он спросил адъютанта:

— Обед скоро будет?

— Сейчас накрывают, — сказал дежурный порученец.

— Вот хорошо, — сказал Еремин, — ты орешков не грызи перед обедом. — Он пожал плечами. — Мне мало,

когда командир закалился, стал опытен, мудрость приобрел. Командир должен полной жизнью жить на войне, спать хорошо, есть хорошо, книжку читать, веселым быть, спокойным, стричься по моде, как ему больше идет, и лупить по авиации противника, и танки, что в обход пошли, уничтожать, и мотоциклы, и автоматчиков, и кого там хочешь. И от этой драки ему только лучше и спокойней на свете жить. Вот — военный человек. Помнишь, как мы с тобой вареники со сметаной ели в одном полку?

Чередниченко усмехнулся.

— Это, когда повар жаловался: «Пикирует и пикирует, не дает, гад, лепить!»

— Вот, вот, пикирует, не дает, гад, лепить... А вареники хороши были! — Он подумал и сказал:—Все это так, свое дело любить надо, а наше с тобой дело—война.

Чередниченко подошел к Еремину и сипло проговорил:

— Мы его будем бить. Побежит он, увидишь, побежит, — и день этот проклянет, — двадцать второе июня, и час этот — четыре часа утра — проклянет, и сыновья его и внуки и правнуки проклянут.

В течение дня воздушная разведка подтвердила сведения, принесенные пришедшим из окружения раненым лейтенантом: в районе Гореловец происходила концентрация шедших разными путями германских танковых колонн. Лейтенант по карте указал низменную местность, поросшую редким ельником, где шла концентрация немцев. Аэрофотосъемка точно подтвердила это. Пастухи, переправившиеся через реку, сообщили разведчикам, что после того, как бабы сходили на полдник доить коров, в район сосредоточения прибыли две колонны мотопехоты. Место концентрации немцев находилось в двадцати двух километрах от реки. Зная слабость нашей авиации на этом участке фронта, немцы чувствовали себя спокойно. Боевые и грузовые машины размещались плотно одна к другой, некоторые, когда спустились сумерки, зажгли фа-

ры; и у светящихся фар повара чистили овощи к завтрашнему утру.

Командующий фронтом вызвал начальника артиллерии.

— Достанете? — спросил он, указав отмеченный на двухверстке овал.

— Накрою, товарищ генерал-лейтенант, — сказал начальник артиллерии.

В распоряжении командующего находились орудия тяжелой артиллерии резерва главного командования. Это были те стальные чудовища, которые встретил Богарев в день своего приезда в штаб. Многие в штабе опасались, что громадные пушки не удастся благополучно переправить через реку, — требовалась постройка особо прочной переправы. Богарев не знал, что бой у совхоза и разгром танковой колонны дал время саперам построить переправу для могучих орудий.

— В двадцать два обрушиться всей мощью огня, — сказал командующий начальнику артиллерии.

Начальник артиллерии, розовощекий, почти всегда улыбающийся генерал любил свою жену, старушку-мать, дочерей, сына. Он любил много вещей в жизни: и охоту, и веселую беседу, и грузинское вино, и хорошую книгу. Но больше всего на свете любил он дальнобойную артиллерию. Он был ее слугой и поклонником. Он переживал гибель каждого тяжелого орудия как личную утрату. Он огорчался, что дальнобойной артиллерии не приходится развернуть всю свою мощь в нынешней войне быстрого маневра. Когда в районе штаба сконцентрировались большие массы тяжелой артиллерии, генерал волновался, одновременно радовался и печалился — удастся ли применить ее?

И тот миг, когда Еремин сказал: «...обрушиться всей массой огня», был, вероятно, самым торжественным и счастливым во всей жизни начальника артиллерии.

Вечером на поляне заседал Центральный комитет белорусской коммунистической партии. Светлое вечернее небо просвечивало сквозь листву. Сухие серые листья, словно положенные заботливой рукой хозяйки, прикрывали нарядный пружинящийся темнозеленый мох.

Кто передаст суровую простоту этого заседания на последнем свободном клочке белорусского леса! Ветер, пришедший из Белоруссии, шумел печально и торжественно, и, казалось, миллионный шопот людских голосов звучал в дубовой листве. Народные комиссары и члены ЦК, с утомленными, загоревшими лицами, одетые в военные гимнастерки, говорили коротко. И словно тысячи связей тянулись от этой лесной поляны к Гомелю и Могилеву, Минску, Бобруйску, к Рогачеву и Смолевичам, к деревням и местечкам, садам, пчельникам, полям и болотам Белоруссии... А вечерний ветер звучал в темной листве сумеречным, печальным и спокойным голосом народа, знавшего, что ему либо умереть в рабстве, либо бороться за свободу.

Стемнело. Артиллерия открыла огонь. Долгие зарницы осветили темный запад. Стволы дубов вышли из тьмы, словно весь тысячествольный лес шагнул разом и остановился, освещенный трепетным белым светом. То не были отдельные залпы и грохот пушечной пальбы. Так гудел воздух над землей в далекие периоды доархейской эры, когда с океанского дна поднимались горные цепи нынешней Азии и Европы.

Два военных журналиста и фотокорреспондент сидели на поваленном стволе, невдалеке от шалаша Военного Совета. Они молча наблюдали эту потрясающую картину.

Из лиственного шалаша послышался голос командующего:

— А помните, между прочим, товарищи, у Пушкина в «Путешествии в Арзрум» замечательно там описано...

Журналисты не услышали окончания фразы.

Через несколько мгновений они опять уловили спокойные, медленные слова и по интонации голоса узнали дивизионного комиссара Чередниченко:

— Я люблю, знаешь, Гаршина, вот правдиво сказал про солдатскую жизнь.

В 22 часа 50 минут командующий фронтом и начальник артиллерии пролетели на боевом самолете над долиной, где сконцентрировались панцирные колонны немцев. То, что увидели они, навсегда наполнило гордостью сердце артиллерийского генерала.

XV

Генерал-майор Самарин, командовавший армейской группой, имел одной из своих задач удерживать переправы через реку. Штаб, тылы, редакция армейской газеты— словом, и второй и первый эшелоны находились на восточном берегу реки. Передовой КП Самарин вынес на западный берег, в небольшую деревушку, стоявшую на краю большого несжатого поля. С ним были лишь майор Гаран из оперативного отдела штаба, седой полковник Набашидзе, начальник артиллерии, полевая рация, телеграф да обычные полевые телефоны, связывавшие его с командирами частей. Самарин стоял в просторной светлой избе, там он работал, принимал командиров, обедал. Спать он уходил на сеновал, так как не выносил духоты.

В избе на походных кроватях спали: курносый, с очень красными щеками и очень черными круглыми глазами адъютант Самарина — Лядов, меланхолик повар, певший перед сном «Синенький скромный платочек», и шофер зеленого вездехода Ключин, возивший с собой в машине с первого дня войны роман Диккенса «Давид Копперфильд». Он прочел к 22 июня всего лишь четырнадцать страниц и за месяц войны не продвинулся в чтении, так как Самарин давал людям мало отдыха. Как-то по-

вар спросил, интересна ли эта толстая книга. «Стоящая, — сказал Ключин, — из еврейской жизни».

На рассвете с сеновала спускался Самарин, и Лядов шел к нему навстречу с кувшином и полотенцем. Он лил холодную колодезную воду на поросшую рыжим пухом шею маленького генерала и спрашивал:

— Хорошо спали, товарищ генерал-майор? Сегодня ночью немец все бил трассирующими из леса.

Самарин был неразговорчивый и суровый человек. Он не знал страха на войне и часто приводил в отчаяние Лядова, отправляясь на самые опасные боевые участки. Он ездил по полям сражений с хозяйской неторопливой уверенностью, появлялся на командных пунктах полков и батальонов в тяжелые минуты боев. Он ходил со всеми орденами и с золотой звездой на груди среди рвущихся мин и снарядов. Приезжая в дерущийся полк, он сразу же в хаосе звуков разрывов и стрельбы, в дыму горящих изб и сараев, в пестрой путанице перебежек, движения наших и вражеских танков улавливал стержень боевой обстановки. Командиры дивизий, полков, батальонов хорошо знали его отрывистый голос, не знавшее улыбки, часто казавшееся мрачным и недобрый большеносое лицо. Он сразу же, появившись в полку, заслонял собой и грохот орудий, и огонь пожаров, вбирал в себя на минуту все напряжение боя. Он недолго оставался на командном пункте, но его посещение отпечатывалось на всем движении боевых событий, словно спокойный, холодный взгляд командарма продолжал смотреть на лица командиров. Видя плохое руководство боем, он, не колеблясь, отстранял начальников. Был случай, когда он послал майора, командира полка, рядовым бойцом в атаку — искупать свою вину за нерешительность и боязнь подвергаться опасности, принимать ответственное решение. Он сурово и без жалости карал смертью на поле сражения трусов.

Его ненависть и отвращение к противнику были неукротимы. Когда он проходил по горящим улицам подожженных немцами деревень, лицо его становилось страшно. Бойцы рассказывали, как Самарин, выехав на броневике в самое пекло боя, увидел раненого красноармейца и посадил его на свое место, а сам шел пешком следом за броневиком под ураганным огнем немцев.

Рассказывали, как он, подняв в бою брошенную бойцом винтовку, запачканную в зловонной грязи, перед строем роты старательно и любовно обтер ее и молча передал обмершему от стыда красноармейцу. И люди, которых вел он в бой, верили ему, прощая ему суровость и жестокость.

Лядов хорошо знал своего генерала. Не раз, подъезжая к передовой линии, Лядов спрашивал дорогу у встречных командиров и, возвращаясь к машине, докладывал:

— Товарищ генерал-майор, машиной проехать нельзя, тут никто не ездит, дорога под обстрелом минометов, а в рощице, говорят, автоматчики засели,— надо искать объезда.

Самарин разминал толстую папиросу и, закуривая, говорил:

— Автоматчики? Ничего, езжай прямо.

И Лядов млел от тошного страха, сидя за спиной у своего генерала. Как многие нехрабрые люди, Лядов навесил на себя много грозного оружия: на нем были автомат, маузер, наган, браунинг, в карманах — еще один маузер и трофейный парабеллум. Однажды ездил он в тыл по поручению генерала и своими рассказами и грозным видом восхищал женщин в вагонах, комендантов железнодорожных станций. Но он, кажется, ни разу не стрелял из своих многочисленных револьверов и пистолетов.

Весь день Самарин провел на передовой. Давление немцев усиливалось на всех участках. Бои шли днем и ночью. Красноармейцы, измученные жаркой и душной пого-

дой, часто отказывались от горячей пищи, которую подвозили к окопам.

Самарин, вернувшись на КП, позвонил по телефону Еремину, просил разрешения отойти на восточный берег реки. Еремин резко отказал ему. После разговора с Ереминым у генерал-майора сделалось скверное настроение. Когда майор Гаран принес очередную оперсводку, Самарин не стал читать ее, а равнодушно сказал:

— Я знаю положение без вашей сводки...— И сердито спросил у повара: — Обедать я буду когда-нибудь?

— Готов обед, товарищ генерал-майор,— ответил повар и так старательно приставил ногу, повернулся направо, что белый халат его затрепетал. Хозяйка избы, старая колхозница Ольга Дмитриевна Горбачева, неодобрительно ухмыльнулась. Она была сердита на повара, насмешливо относившегося к деревенской стряпне.

— Ну, скажи мне, Дмитриевна, как бы ты стала готовить котлету де-воляй, или, скажем, картошку-пай жарить, а? — спрашивал ее повар.

— Да провались ты,— отвечала она,— станешь меня, старуху, учить картошку жарить.

— Да не по-деревенскому, а вот как я в Пензе в ресторане до войны готовил. Вот прикажет тебе генерал-майор, как ты ему скажешь, а?

Невестка Фрося и больной внучек внимательно слушали этот длившийся уже несколько дней спор. Старуху сердило, что она не умеет готовить блюд с глупыми названиями и что тощій верзила повар ловчее ее управляетя в кухонных делах.

«Тимка, одно слово—Тимка»,— говорила она, зная, что повар не любил, даже когда его называли по фамилии и улыбался лишь при обращении «Тимофей Маркович». Так величал его Лядов, когда хотел перекусить еще до того, как генерал садился обедать. Самарин был доволен своим

поваром и никогда не сердился на него. Но теперь, садясь обедать, он сказал:

— Повар, сколько раз нужно повторять, чтобы самовар привезли из штаба?

— Сегодня к вечеру АХО привезет, товарищ генерал-майор.

— А на второе опять баранину жарил? — спросил Самарин. — Два раза ведь говорил, чтобы рыбы нажарил, речка-то рядом, время тоже как будто есть.

Дмитриевна, усмехаясь, поглядела на смущенного повара и сказала:

— Ему бы только над старухой смеяться, а если генерал просит честью, нешто он понимает? Одно слово — Тимка!

— А он смеется над вами? — спросил Самарин.

— А нешто не смеется, — ты, говорит, старая, можешь котлету де-воляй жарить? И пошел... Тимка-то.

Самарин улыбнулся.

— Ничего, я над ним тоже посмеяться могу... — Повар, — сказал Самарин, — как тесто для бисквита готовить?

— Это я не могу, товарищ генерал-майор.

— Так. А как тесто пшеничное всходит? На соде, на дрожжах? Объясни, пожалуйста.

— Я по кондитерскому цеху не работал, товарищ генерал-майор.

Все рассмеялись посрамлению повара.

После обеда генерал пил чай и пригласил Ольгу Дмитриевну. Старуха неторопливо обтерла руки об фартук и, смахнув с табуретки пыль, подседа к столу. Она пила чай из блюдечка, утирая морщинистый лоб, заблестевший от пота.

— Сахару, сахару возьмите, мамаша, — говорил Самарин и спросил: — Как внук, опять не спал ночью?

— Нарывает все нога, беда с ним, сам замучился и нас замучил.

— Повар, ты угости ребенка вареньем.

— Есть, товарищ генерал-майор, угостить пацана вареньем.

— А как там, в Ряховичах, бой идет? — спросила старуха.

— Идет бой.

— Народ что терпит! — старуха перекрестилась.

— Народу там нет, — сказал генерал, — выехал весь народ. Стоят пустые хаты. И вещи народ вывез. Вот объясни мне, Ольга Дмитриевна, такую вещь: сколько я заходил в пустые хаты, — вещи все вывезены, а иконы колхозники оставляют. Уж такое старье с собой берут, смотреть не хочется, стоит хата пустая, ничего нет — газеты со стен сдирают, а иконы оставляют. Во всех хатах так. Вот ты, я вижу, молишься, объясни, как же это так? Бога оставляют?

Старуха рассмеялась и тихо, чтобы слышал один генерал, сказала:

— Кто его знает, есть он или нет, вот мы, старые, и молимся, — кивнешь ему десять раз, может и примет.

Самарин усмехнулся.

— Ох, Дмитриевна, — сказал он и погрозил пальцем котенку, спустившемуся с печи на пол.

В это время принесли радиошифровку Богарева о подробностях разгрома колонны танков.

Лядов знал хорошо характер генерала. Он знал, что перед поездкой на самые опасные участки фронта генерал приходил в хорошее настроение, знал, что чем напряженней, накаленней делалась обстановка, тем спокойней становился Самарин. Он знал и странную слабость, которую имел этот суровый человек. Самарин, приходя в пустую, брошенную избу, где обязательно оставались верные жилью кошки, вынимал из кармана кусочки заранее запасенного хлеба и подзывал голодного кота либо многодет-

ную кошачью мать и, садясь на корточки, начинал кормить их. Однажды он задумчиво сказал Лядову:

— Знаешь, почему деревенские коты не играют с белой бумажкой? Привычки нет у них такой, к белой бумаге, а на темную бросаются сразу — думают мышь.

И сейчас Лядов понял, что Самарин после разговора со старухой и получения шифровки пришел в хорошее настроение.

— Товарищ генерал-майор, — сказал он, — разрешите доложить: майор Мерцалов по вашему вызову явился.

Самарин нахмурился и снова погрозил пальцем котенку.

— Что ты там говоришь?

— Я докладываю, товарищ генерал-майор: командир сто одиннадцатого стрелкового полка явился по вашему вызову.

— А, ладно. Пусть зайдет. — Он сказал поднявшейся Дмитриевне: — Сиди, сиди, куда? Пей, пожалуйста, чай, не беспокойся.

Мерцалов утром вышел по проселочной дороге и соединился со своей дивизией. Поход его не был удачен. По дороге он потерял часть артиллерии, застрявшей в топком лесном месте. Полковой обоз заблудился, так как начальнику колонны был дан неточный маршрут. Наконец полк отбивал при движении нападение немецких автоматчиков, и рота Мышанского, шедшая в арьергарде, вместо того чтобы пробиться к основным силам, дрогнула и вместе со своим командиром, не решившимся идти по открытому полю, повернула в лес.

Самарин утром выслушал доклад Мерцалова и задал лишь один вопрос: сколько боеприпасов оставлено Бэгареву.

— Придите ко мне в семнадцать, — сказал он.

Мерцалов понимал, что этот второй разговор будет короче первого и не обещает ему ничего хорошего. Поэтому

он очень удивился и обрадовался, когда Самарин сказал ему:

— Даю вам возможность исправить ошибки: установите связь с Богаревым, согласуйте действия, обеспечьте ему выход и выведите матчасть, которую бросили. Можете идти.

Мерцалов понимал, что поставленная задача исключительно тяжела. Но он не боялся тяжелых и опасных задач. Он больше опасался гнева своего грозного начальника.

XVI

Два дня стоял Богарев со своим батальоном в лесу. Людей в батальоне было немного. Пушки, замаскированные ветками, глядели в сторону дороги. Разведывательный отряд возглавил артиллерист лейтенант Кленовкин, высокий юноша, имевший привычку часто и без особой нужды поглядывать на часы. В разведчики пошли большей частью артиллеристы, а из стрелкового батальона — Игнатьев, Жавелев и Родимцев.

Богарев вызвал Кленовкина и сказал:

— Вам придется быть не только разведчиком, но и начальником. Запасы хлеба у нас на исходе.— Он добавил задумчиво: — Медикаменты есть, а вот чем кормить раненых? Им ведь особая пища нужна — кисели и морсы.

Кленовкин, желая испытать своих новых разведчиков, поручил Родимцеву с товарищами первую разведку.

Он сказал:

— Да, кроме того, надо обеспечить бойцов хлебом, а раненых киселем и питьем фруктовым: у повара мука есть картофельная для киселя.

Жавелев удивленно сказал:

— Товарищ лейтенант, какие же тут кисели? Лес ведь кругом, а на дорогах немецкие танки.

Кленовкин усмехнулся, ему самому казался странным разговор комиссара.

— Ладно, посмотрим. Пошли! — проговорил Игнатъев. Ему не терпелось пойти лесом. Они прошли среди лежавших под деревьями бойцов. Один из них, с перевязанной рукой, поднял бледное лицо и сердито сказал:

— Тише, что ты шумишь, как медведь?

Другой шопотом спросил:

— Домой, что ли, ребята, идете?

Разведчики пошли в глубь леса, и Родимцев всю дорогу удивленно говорил:

— Что с народом стало, прямо удивленье! То стояли в обороне — двухсот танок не испугались, а в лесу двое суток лежали — и вроде скисли.

— Без дела люди, — говорил Жавелев, — это всегда так.

— Нет, это удивленье только, — говорил Родимцев.

Они вскоре подошли к просеке. Больше двух часов пролежали они в придорожной канаве, наблюдая движение немцев. Мимо них проезжали связные мотоциклисты; один остановился совсем близко от них, набил трубку, закурил и поехал дальше. Прошли шесть тяжелых танков. Но чаще всего ехали грузовики с хозяйственными грузами. Немцы разговаривали, сидя с расстегнутыми воротниками, должно быть, хотели загореть; в одной машине солдаты пели. Машины проезжали под деревом со свисавшей листвою, и почти из каждой машины протягивалась рука, чтобы сорвать несколько листьев.

Затем разведчики разделились. Родимцев и Жавелев пошли лесом к тому месту, где проселок пересекал шоссе, а Игнатъев перешел проселок и оврагом пробрался к деревне, в которой находились немцы.

Он долго наблюдал из высокой конопли. В деревне стояли танкисты и пехота. Они, видимо, отдыхали после перехода. Некоторые купались в пруду и лежали голые на солнце. В саду под деревом обедали офицеры, они пили из металлических, ярко блестящих на солнце стаканчиков; один из них все время заводил патефон, другой играл

с собакой, третий, сидя поодаль, писал. Некоторые солдаты, сидя на завалинках, занимались латаньем белья, другие брились самобрейками, повязав себя полотенцами, иные трясли яблони в садах и тычками снимали с верхних ветвей грушевых деревьев спелые груши. Некоторые, лежа на траве, читали газеты.

Эта местность напоминала родную деревню Игнатьева: и лес походил на тот лес, где любил он часами бродить, и река похожа была на ту реку, где мальчишкой ловил он пескарей и мелкую тощую плотичку. А сад, в котором обедали и заводили патефон немецкие офицеры, был очень похож на сад Маруси Песочиной. Сколько славных почных часов просидели они с Марусей в саду! Ему вспомнилось, как ночью из темной, черной листвы светлели белые личики яблок, как вздыхала и негромко смеялась рядом, словно теплая молодая птица, Маруся. Сердцу стало горячо от этих воспоминаний... На пороге хаты показалась худенькая девушка с босыми ногами, в белом платочке, и немец что-то крикнул ей, показал рукой... Девушка вернулась в хату и вынесла кружку воды. Страшная боль, горе, злоба сжали сердце Игнатьева. Никогда, ни в ту ночь, когда немцы жгли город, ни глядя на разрушенные деревни, ни в смертном бою не испытывал Игнатьев такого чувства, как в этот светлый безоблачный день. Эти немцы, спокойно отдохавшие в советской деревне, были страшней во много раз тех, в бою. Он ходил по своему лесу пригибаясь, говорил шопотом, озирался, а ведь он знал эти лиственные леса, их дубы, осины, березы, клены, как свой родной дом; он ходил по такому лесу и пел во весь голос песни, которым его научила хмурая бабка Богачиха, он лежал на шуршащих сухих листьях и глядел на небо, он наблюдал возню птиц, разглядывал стволы деревьев, поросшие мхом, он знал все ягодные и грибные места, знал, где лисьи норы, в каких дуплах живут белки, на каких полянах среди высокой травы играют перед вечером зай-

цы. А теперь немец раскуривал трубку среди леса, и Игнатьев тихо, хоронясь, следил за ним из поросшей кустарником канавы. Черный провод, протянутый немецким связистом, тянулся среди милых деревьев — в детском неведении рябины и березы позволяли тонким ветвям своим поддерживать проволоку, и через русский лес по этому проводу бежали немецкие слова. А там, где не было деревьев, немец вкопал в землю тела молодых березок, поприбивал к ним дощечки-указатели, и березы стояли мертвые, с желтыми, маленькими, как медные копеечки, листочками, и держали на себе все тот же подлый провод.

В этот день, в эту минуту Игнатьев понял всей глубиной сердца, что происходит в стране, — что война идет за жизнь, за дыханье трудового народа.

Он видел отдыхавших немцев, и ужас оледенил его: он на миг представил себе, что война кончилась. Немцы, вот так, как сейчас перед его глазами, купаются, слушают вечерами соловьев, бродят по лесным полянам, собирают малину, ежевику, лукошки грибов, попивают чай в избах, заводят музыку под яблонями, снисходительно подзывают к себе девушек. И в этот миг Игнатьев, несший на своих плечах всю страшную тяжесть этих битв, не раз сидевший в глиняной яме, когда над головой его проходили немецкие танки, Игнатьев, прошедший тысячи километров в горячей пыли фронтовых дорог, видевший каждый день смерть и шедший навстречу ей, понял всем сердцем своим, всей кровью, что эта сегодняшняя война должна продолжаться, пока немец не уйдет с советской земли. Огонь пожаров, грохот рвущихся мин, воздушные бои — все это было благо по сравнению с этим тихим отдыхом фашистов-немцев в занятой ими украинской деревне. Эта тишина, это благодушие немцев ужасали. Игнатьев невольно погладил приклад своего автомата, ощупал гранату, что-

бы увериться в своей силе, своей готовности биться,— он, рядовой, всей кровью своей был за войну.

О, это не была война четырнадцатого года, о которой рассказывал старший брат, война, проклятая рядовыми и ненужная народу.

Все это душой, умом и сердцем чуял Игнатьев в этот светлый солнечный день, в обманной тишине полудня, глядя на отдыхавших немцев.

«Да, комиссар верное слово мне тогда сказал»,— подумал он, вспомнив разговор с комиссаром в пылавшем городе.

Он вернулся на условленное место встречи, товарищи ждали его.

— Что на большаке? — спросил он.

— Обозы все идут,— сказал скучным голосом Жавелев,— обозы, обозы, гуси, куры с машин кричат, скотину гонят.

Лицо у него было расстроенное, без обычной озорной и недоброй усмешки. Видно, и он почувствовал злую тоску, поглядев на немецкие тылы.

— Что ж, пошли назад? — спросил Родимцев.

Он был спокоен, по-обычному. Таким знали его товарищи в ожидании немецких танков, таким знали его при хозяйственной неторопливой дележке хлебных порций перед ужином.

— «Языка» бы надо захватить,— сказал Жавелев.

— Это можно,— оживившись, проговорил Игнатьев,— я уже придумал средство,— и рассказал товарищам свой простой план.

Жажда работы охватила Игнатьева. Ему казалось, что воевать он должен день и ночь, что нельзя ему терять ни минуты времени. Ведь восхищал он всегда туляков-оружейников своей сметкой и неукротимой трудовой силой, ведь считался он в деревне первым косарем...

Они доложили лейтенанту о результате разведки. Лей-

тенант велел Игнатьеву пойти к комиссару. Богарев сидел под деревом.

— А, товарищ Игнатьев,— улыбнулся он,— где ваша гитара, уцелела?

— Как же, товарищ комиссар,— вчера играл на ней бойцам, что-то народ крепко заскучал, тихо стал разговаривать.

Он смотрел внимательно в лицо комиссару и сказал:

— Товарищ комиссар, разрешите мне поработать по-настоящему, чтобы искра шла. Не могу я видеть, как немцы тут патефоны крутят, по нашим лесам ездят.

— Дел много,— сказал Богарев,— дела хватит. Вот у меня забота: хлеб, раненых покормить, «языка» достать— это на всех работы хватит.

— Товарищ комиссар,— сказал Игнатьев,— мне бы команду пять человек, я с ними все эти дела обделаю до вечера.

— Не хвастаете? — спросил Богарев.

— Давайте посмотрим.

— Я взыщу с вас, если не исполните.

— Есть, товарищ комиссар.

Богарев велел Кленовкину выделить команду добровольцев. Через пятнадцать минут Игнатьев повел их в лес, в сторону дороги.

Первое дело, которое он взялся выполнить, заняло немного времени. Он заметил несколько полян, красневших от ягод.

— Ну, девки,— крикнул он сопровождавшим его бойцам,— поднимай подола, собирай ягоду!

Все смеялись его шуткам, прямо надрывались, слушая истории, которые он рассказывал одну за другой.

— Ягод-то, ягод, сафьян прямо расстелен,— говорил Родимцев.

— Чернику отдельно, ежевику отдельно, малину отдельно, листьями разделяй их,— говорил Игнатьев.

Через сорок минут котелки, каски были полны ягод.

— Ну вот, очень просто,— возбужденно объяснял бойцам Игнатъев.— Чернику варить тем, кто животом мучается, малину — кого лихорадит, с ежевики — сок кислый, вроде кваса, будет; раненый — он пить всегда просит.

Он быстро и ловко приспособился отжимать сок из ягод и, чтобы сок не был мутным, пропускал его через сложенную вдвое марлю из своего индивидуального пакета. Вскоре собралось несколько банок прозрачного и густого сиропа. Откуда-то прилетела домашняя муха. Игнатъев поволок все это добро к шалашам, где стонали раненые. Старик-доктор, посмотревший на хозяйство Игнатъева, всхлипнул, утер слезу и сказал:

— В лучшем клиническом госпитале вряд ли могли бы предложить раненым такую вещь. Вы спасли не одну жизнь, товарищ боец, вот фамилии вашей я не знаю.

Игнатъев растерянно поглядел на доктора, ухмыльнулся, махнул рукой и пошел. Веселая удача шла рядом с ним.

Боец, посланный для наблюдения за дорогой, сообщил, что на просеке остановился немецкий грузовик. Видимо, с мотором произошла серьезная авария; немцы долго обсуждали случай, затем все, вместе с шофером, уехали с попутной машиной.

— А что в грузовике? — быстро спросил Игнатъев.

— Не поймешь, прикрыто ихними плащ-палатками.

— Не загляну?

— Как в него заглянешь,— сказал боец,— машины то сюда, то туда шасть, не подойдешь.

— Эх ты, шасть,— сказал Игнатъев,— воробей!

Боец обиделся.

— Видать, ты сокол,— сказал он.

Игнатъев прошел к машине и крикнул:

— А ну, ребята, сюда!

Они шли к нему, глядя на его веселое хозяйственное лицо. Он был хозяином этого леса, никто другой. И никто

другой не мог быть хозяином,— он говорил громко, как у себя дома, его светлые глаза смеялись.

— Скорей, скорей,— кричал он,— держи плац-палатки с того конца, придерживай! Так. Хлеб нам немцы привезли. Видишь, как спешили, старались, чтобы свежим, теплым поспел. Даже машину запорол.

Он начал бросать каравай за караваем в подставленные плац-палатки, приговаривая все время:

— Этот Фриц перепек, не умеет он подовый хлеб печь, взыщем с него. А этот хорош — видать, Ганс старался. Этот передержал — проспал Герман. Этот вот пышный, лучше всех — по моему заказу, сам Адольф пек.

Загорелый лоб его покрылся каплями пота, и солнце, проникая через листву, пятнало его лицо, мелькавшие в воздухе хлебы, черные борта германской машины, поросшую зеленой травой дорогу. Он разогнулся, крикнул, встал во весь рост, обтер лоб и оглядел лес, небо, дорогу...

— Как на стогу бригадир,— проговорил он,— ну, неси, ребята, метров двести, а то триста; в кусты схороните и назад.

— Да ты сойди, чего ты, с ума, что ли, сошел, вот-вот налетят! — закричали ему.

— Куда мне итти? — удивленно сказал он.— Это мой лес, я тут хозяин. Пойду, а меня спросят: куда, хозяин, идешь?

И он остался стоять на машине. Дрозды и сойки кричали над его головой, восхваляя его смелость, веселье, доброту. Он крошил хлеб и бросал птицам, а потом и сам стал напевать. Но глаза его зорко следили за прямой дорогой, видимой на километр в обе стороны. Он внезапно прерывал пение и вслушивался, сощурясь, не стучит ли где мотор. Вот вдали появилось облачко пыли, Игнатьев вмоторелся: мотоцикл.

— Хозяин, чего же тебе бегать? — спросил он насмешливо самого себя.

Ясно было, что буксировать или ремонтировать машину приедут не на мотоцикле. Игнатьев проверил гранату, сжал рукоятку ее в руке и лег в углубление, освободившееся от унесенного хлеба. Мотоциклист промчался мимо, даже не замедлив хода. Через час весь грузовик был разгружен. Уходя, Игнатьев заглянул в кабину и вытащил из боковой сумки коньячную бутылку, вина в ней было совсем немного. Игнатьев сунул бутылку в карман. Когда бойцы уносили последнюю плащ-палатку с хлебом, вдали послышалось тарахтенье мотора.

Игнатьев залег в кусты — посмотреть, что будет. Машина, замедлив ход, развернулась и подъехала к пустому грузовику.

Игнатьев не понимал ни слова из того, что кричали немцы, но их жестикуляция, выражение лиц, беготня объяснили все совершенно ясно. Сперва они заглядывали в кабину, смотрели под машину, потом унтер-офицер кричал на ефрейтора, и тот стоял руки по швам, каблук к каблуку. Ясно было Игнатьеву — унтер кричал: «Ты что, собачья морда, не мог заставить никого покараулить, чего бояться?» А ефрейтор с печальным видом показывал рукой: «Лес, мол, кругом, нешто их, кобелей, заставишь остаться?» А унтер, видно кричал: «Сам, поросячье племя, должен был остаться. Теперь всех вас под арест посажу и без хлеба оставлю». — «Воля ваша», — отвечал ефрейтор и вздыхал. Потом уж ефрейтор стал кричать на шофера. Игнатьев так объяснял его шум: «Ты что мотор запорол, видишь посреде леса стал, небось, все лакал из бутылки?» А шофер, видя, что унтер отошел справлять от огорченья нужду, отвечал нахально ефрейтору: «Что шуметь, ты, боже мой, из бутылки стаканчик — два глотнул!»

На ветвях прыгали дрозды и смеялись над немцами. Затем один из солдат нашел возле машины бычок папироски

и показал унтеру, и Игнатъев сообразил: унтер разглядел обгоревшую газетку с русскими буквами. «Вот они!» — закричал он, показывая солдату бычок. Тут немцы сразу сошли с ума: повытаскивали парабеллумы, а некоторые вскинули автоматы и открыли пальбу по деревьям; листья и мелкие ветки так и посыпались на дорогу. Игнатъев пополз в дальние кусты, где схоронились товарищи с хлебом. Там, посмеиваясь, рассказал он им, что видел, вытащил из кармана бутылку и сказал:

— Тут этого коньяку осталось с гулькин нос, на шестерых все равно не разделишь, придется, видно, самому, а?

И аккуратный Родимцев отвернул от своей фляги стаканчик и сказал:

— Ладно, чего уж, пей сам, вот стаканчик тебе. Я немецкого ничего в руки не беру.

Перед вечером Игнатъев привел к комиссару немца. Поймал он его простым способом: перерезал телефонный провод, протянутый вдоль просеки, и засел с товарищами в кустах. Через час пришли два немца-связиста искать порыв провода. Красноармейцы выскочили из засады. Одного немца, пытавшегося убежать, застрелили; второй, оскостеневший от неожиданности, попал в плен.

— Я, товарищ комиссар, на них в лесу имею способ, — с веселой деловитостью сказал Игнатъев, — мотоциклистов снимать: через дорогу провод натягивать; и на пехоту способ простой: повязать курей в кустах, — немцы за пять километров на кудахтанье сбегутся.

— Дельно, — сказал ему, смеясь, Богарев.

В темноте Румянцев построил пехотинцев и артиллеристов и зачитал приказ — благодарность бойцу-разведчику от лица службы. Из сумерек ответил голос Игнатъева, шагнувшего по вызову из строя:

— Служу Советскому Союзу, товарищ капитан.

Мерцалов мучительно помнил свой неудачный отход. Непереносимо унижительное чувство бессилия владело им в течение короткого марша, скорей напоминавшего бегство, чем отступление регулярной воинской части. Особенно тяжело было смотреть на людей, которых вел Мышанский. В его роте царила подавленность, бойцы шли, опустив головы, устало шаркая ногами, некоторые без оружия. Каждый громкий звук заставлял людей настораживаться, они блуждающим взглядом оглядывали небо, разбегались, едва появлялся немецкий самолет. Мышанский запретил вести огонь по самолетам и велел бойцам идти в стороне от дороги, стараясь выбирать лесистые либо заросшие кустарником места. Рота двигалась беспорядочной, растянувшейся толпой. Красноармейцы, почувствовав неуверенность командиров, часто нарушали дисциплину. Несколько черниговцев ночью оставили оружие и ушли проселком в свои села. Мерцалов приказал задержать их. Но их не удалось найти.

Днем передовые подразделения полка вышли на широкое поле. Впереди, в пяти-шести километрах, синел лес. Этот лес доходил до самой реки. Красноармейцы оживились: там, за рекой, стояли наши войска, там кончался тяжелый и опасный путь по немецким тылам. Лошади, почуяв далекий запах влаги, пофыркивали, обозным не приходилось их подгонять. Когда полк, растянувшись, пылил по дороге тысячами сапог, скрипучими колесами подвод, стертými покрывками автомобильных колес, широкими перепончатыми гусеницами тягачей, в воздухе появился немецкий самолет-разведчик. Он сделал быстрый круг над дымившейся от пыли дорогой и ушел. Мерцалов понял, что вскоре ему предстоит встреча с противником. Мерцалов приказал точно соблюдать двадцатиметровую дистанцию между движущимися по дороге подводами и грузовиками на случай налета бомбардировщиков, при-

казал турельным пулеметам, находившимся на грузовиках, выехать в голову и в хвост колонны.

Он был уверен, что противник нападет с воздуха. Желчно сказал он начальнику штаба:

— Смотри, товарищ майор, на роту Мышанского — все головы подняли, в небо глядят! И сам Мышанский, как орел, в небо глядит; а лесом — бредет понурившись, словно семидесятилетний старик, головы не подымет.

Он въехал на холм и оглядел простор неба и земли, растянувшийся перед ним. Несжатая пшеница волновалась, шумела, ветер шевелил ее, пригибал, и желтые налитые колосья клонились, а глазу открывалось бледное тело стеблей. Все поле меняло цвет: из янтарно-желтого становилось бледнозеленым. И тогда казалось, что смертная бледность пробегала по пшенице, словно живая кровь отливала от лица, словно поле бледнело, ужасаясь уходу русского войска. И поле шумело, просило, клонилось к земле, то бледнело, то, вновь поднимая пышный колос, красовалось всей своей богатой, каленной солнцем красотой. Мерцалов смотрел на поле, на белевшие кое-где бабьи платки, на дальние мельницы, на хаты светлевшей вдали деревушки.

Он посмотрел на небо — с детства знакомое, блеклое, молочно-голубоватое, горячее летнее небо. По нему шли облака, мелкие, размытые, неясные, такие прозрачные, что сквозь них просвечивала голубизна воздуха. И это огромное поле и это огромное знойное небо взывали в великой тоске, просили помощи у войска, пылившего по горячей дороге. И облака шли с запада на восток, словно кто-то невидимый гнал огромное стадо белых овец по русскому небу, захваченному немцами.

Они шли следом за уходящим в пыли войском, они спешили уйти туда, где не режет их острое железное крыло немецкого самолета. И пшеница шумела, кланялась в но-

ги красноармейцам, просила, и сама не знала, о чем просить.

— Эх, кровью бы плакать! — промолвил Мерцалов. — Соленой кровью, не слезами!

Босая старуха, с полупустой торбой на согбенной спине, и идущий с ней большеглазый мальчик молча смотрели на огходящее войско, и непередаваемо страшен был укор в их печальных, застывших глазах — детски беспомощных у старухи, старчески усталых у ребенка. Так и остались они стоять, затерявшиеся в огромном поле.

Тяжелый это был день! Никогда не забыть Мерцалову этого дня. Он ожидал противника с воздуха, а противник пришел с земли. В коротком бою потерял Мерцалов свой обоз, потерял роту Мышанского, ушедшую вместе со своим командиром в лес.

К вечеру полк подошел к реке. Тяжкий путь кончился. Но не радовался командир полка — горькие мысли владели им.

Подошел начальник штаба и передал Мерцалову рапорт политрука второй роты. На лесном хуторе остался красноармеец, заявив товарищам, что решил переждать тяжелые времена с молодой вдовой-хозяйкой. Мерцалов приказал немедленно снарядить полуторку и доставить дезертира. Его привезли в штаб полка ночью, в крестьянской одежде, в лаптях, — свою форму он утопил в ставке, привязав к ней камень. Мерцалов издали наблюдал за разговором, который завели с ним красноармейцы.

— И пилотку с червоной звездой утопив? — спросил первый номер пулеметного расчета.

— Эге ж, — уныло и равнодушно ответил дезертир.

— И винговку утопил? — спросил второй номер пулеметного расчета.

— А на що вона, як я на хутори остався?

— Он свою душу в том ставке тоже утопил, — сказал высокий мрачный красноармеец Глушков, брат убитого в

бою с немецкими танками, — навязал на нее кирпич и утопил.

— На шо мени душу топыть? — обиженно спросил дезертир и почесал ногу. Старшина, ездивший за дезертиром, усмехнувшись, сказал:

— Мы приехали. Он со своей молодухой спать ложились, — аккуратно так все, постелились, пол-литра на столе пустые, две стопочки, свининки жареной поели.

— Да ее треба було б забрать, лядачку, та расстрелять з ним разом, — сказал первый номер пулеметного расчета.

— Сапогами забить! — сказал худой боец с измученным лицом и большими лихорадочными глазами.

Мерцалов подошел к дезертиру. Вспомнился ему весь горький день — пшеница, небо, старуха с мальчишкой, укорявшие отходящие войска, и сказал он впервые в жизни тяжелые, страшные слова:

— Расстрелять перед строем!

Ночью он не спал. «Нет, не согнусь я, — говорил он, — есть во мне сила для этой войны».

И всю силу свою наярив он на решение задачи, поставленной полку командармом.

XVII

Утром к Богареву пришел Мышанский.

— Здравствуйте, товарищ комиссар, — радостно сказал он, — вот встреча так встреча!

Пришедшие с ним люди были не бриты, в порванных гимнастерках. Сам Мышанский выглядел немногим лучше своих бойцов. Он спорол с воротника знаки различия, крючок и верхние пуговицы гимнастерки были вырваны, бывшие раньше при нем полевая сумка и планшет отсутствовали, он их, очевидно, бросил, чтобы не иметь командирского вида, даже револьвер он вынул из кобуры и сунул в карман брюк.

Сев рядом с Богаревым, он тихо сказал:

— Да, влипли мы с вами в классическое окружение, товарищ комиссар. Мне кажется единственно правильным — это рассредоточить людей и пробираться в одиночку через линию фронта.

Богарев, слушая его, почувствовал, как кровь отлила от лица; ему показалось, что щеки у него даже похолодели, побелели от ярости.

— Почему ваши люди в таком виде? — тихо спросил он.

Мышанский махнул рукой.

— Да о чем говорить, — сказал он, — героев среди них нет, — ночью вышли на поляну, немцы пустили ракеты, а они залегли, словно под ураганным огнем.

Богарев встал и тяжело переступил с ноги на ногу. Мышанский, продолжая сидеть, не замечая искаженного злобой лица Богарева, сказал:

— Ох, нет ли у вас закурить, товарищ комиссар? А выход, по-моему, я предлагаю правильный, — пробираться через фронт поодиночке. Кто куда. Скопом мы все равно не прорвемся.

— Встать, — сказал Богарев.

— Что? — спросил Мышанский.

— Встать! — громко и властно повторил Богарев.

Мышанский посмотрел в лицо Богареву и, вскочив, вытянулся.

— Стоять смирно, — сказал Богарев и, с ненавистью глядя на Мышанского, закричал: — В каком вы виде? Как вы подходите к старшему начальнику? Немедленно приведите себя и своих людей в полный порядок, чтобы ни одного небритого, чтобы ни одной порванной гимнастерки. Прикрепите к петлицам знаки различия. Через двадцать минут выстроить роту и явиться ко мне, командиру действующей в тылу у противника регулярной части Красной Армии, в подчинение которого вы поступаете.

— Есть, товарищ батальонный комиссар! — сказал Мышанский и, все еще полагая, что дело не серьезно, улыбаясь, добавил: — Только где же я достану знаки различия, ведь мы в окружении, в лесу, не жолуди же мне пришить к петлицам.

Богарев посмотрел на часы и медленно проговорил:

— Через двадцать минут если мое приказание не будет выполнено, вы будете расстреляны перед строем, вот под этим деревом.

И Мышанский понял и ощутил непреклонную, страшную силу говорившего с ним человека. А в это время артиллеристы и стрелки расспрашивали вновь пришедших бойцов.

— Слышь, борода, — громко спрашивал герой боя с немецкими танками наводчик Морозов одного из пришедших, — ты с какого года?

— С девятьсот двенадцатого, — ответил шопотом вновь пришедший; подняв палец, просительно произнес: — Вы, ребята, тише ржите.

— А что, батяка? — спросил Игнатъев, нарочно повышая голос.

— Ти-и-ша, — со страданием произнес обросший бородой боец, — не слышишь разве?

— Чего, чёго? — заинтересованно спрашивали разведчики и артиллеристы.

— Да немцы кругом, разговор их сюда слыхать.

Все удивленно переглянулись, а Игнатъев вдруг расхохотался так громко, что несколько человек из роты Мышанского зашипели на него: «Тише, тише».

• — Да что вы, ребята, — сказал Игнатъев, — да как вы можете, ведь это вороны кричат, вороны, понимаешь ты!

И дружный хохот пошел по лесу: смеялись артиллеристы, смеялись пехотинцы, смеялись разведчики, смеялись раненные, охая от боли, смеялись и вновь пришедшие бойцы, смущенно качая головами и сплевывая.

В это время подошел к ним Мышанский.

— Живо, живо, — закричал он, — даю вам пятнадцать минут сроку — всем побриться, привести себя в полный порядок. Товарищи командиры взводов, сержанты, прикрепить знаки различия, выстроить роту.

И он схватил свой походный мешок, бегом побежал к ручью.

Богарев ходил под деревьями и думал:

«Нет героев в роте, говорит Мышанский. Ну что ж, нет, так мы их сделаем, будут герои. Будут!»

Вскоре рота построилась. Капитан Румянцев медленно обходил строй, внимательно оглядывал обмундирование бойцов, осматривал оружие, делал придирчивые замечания по поводу каждой мелкой неисправности.

— Потуже, потуже ремень, — озабоченно говорил он, — почему плохо выбрились, бриться надо старательно, а не как-нибудь... А вы винтовку не чистили, куда это годится, разве бойцу Красной Армии можно небрежно обращаться с оружием...

Казалось, дело происходит в военной школе, перед строгим инспекторским смотром, а не в лесу, в тылу у немцев. Богарев специально просил Румянцева произвести этот дотошный осмотр. Он издали наблюдал за выстроившейся ротой. Румянцев уже подходил к левому флангу и, критически оглядев шеренгу, сказал взводному командиру. «Не строго по ранжиру стоят бойцы вашего взвода, товарищ лейтенант». Богарев шагнул вперед. «Смирно!» — закричал Мышанский и, выступив перед строем, громко отрапортовал. Богарев прошел перед строем и обратился к бойцам. Он говорил, не повышая голоса, и слова его сразу дошли до слушателей. Он сказал о великих тягестях войны, он сказал о горьком отступлении. Он рассказал красноармейцам о сложности и опасности положения, не скрывая от своих слушателей ничего. Он сказал о немецких танках, о перерезанных дорогах, ска-

зал, как расценивает он силы противника, находящиеся на этом участке. Он сказал о суровой борьбе на жизнь и смерть, которую ведет народ.

И стоявшие в строю слушали его выпрямившись, со спокойными лицами, глядя на комиссара мудрыми глазами людей, которых не нужно учить.

В эти тяжелые часы и дни люди хотели одной лишь правды. Они хотели слушать правду, тяжелую, невеселую. И Богарев сказал эту правду. Холодный ветер, предвестник осени, зашумел в высокой листве деревьев. И после зноя, после черных грозowych ночей этих месяцев, после душных полдней и вечеров, наполненных зудением комаров, этот пришедший с севера ветер, несущий в себе напоминание о зиме, снегах, метелях, был бесконечно приятен. Этот ветер говорил, что тяжкое, душное лето кончается и идет новая пора. Люди почувствовали это как-то внутренне, навсегда связали новое ощущение со словами комиссара и с порывом холодного ветра, от которого ноябрьски зашумели дубы.

Ночью Богарев не спал. Он пошел на песчаный пригорок, где росли огромные сосны. Богарев лег, прикрывшись шинелью, смотрел в небо. Было прохладно. Луна медленно двигалась, меж черных стволов, по синему небу. В лесу, меж деревьев, было особенно заметно плавное движение луны; столь велика была она, что даже самые толстые стволы не закрывали ее, и желтый обод, исчезая с одной стороны ствола, рос и ширился с другой. Богарев курил, прозрачный дым папиросы при свете луны казался стеклянным. Небо было просторно и пусто — луна затмила звезды. Над лиственной частью леса стоял голубовато-серый туман, такой же легкий, как дым от папиросы. А под соснами все время слышался шелест, словно тысячи муравьев работали в ночную пору, — это капли росы соскальзывали на землю с масляно-скользких сосновых игол. Роса накапливалась, созревала на зеленых острях,

вода стекала по желобку иголок, и капли, наливаясь, зрели и светлели в лунном свете. Красота этой ночи была так велика, что грусть охватила Богарева. Тихий шорох падающих капель, плывущее движение луны, тени стволов, бесплотно-медленнодвигающиеся по земле, говорили о мудрой красоте задумавшегося мира.

А мир содрогался от ударов войны, она влезла под вспаханную землю, ушла под воду, поднялась на десять тысяч метров над землей, она бушевала в лесах, на полях, над тихими прудами, поросшими ряской, над реками и городами, она не знала ни дня, ни ночи. И Богарев подумал: победы в этой войне Гитлер — для мира не станет солнца, звезд и такой прекрасной ночи, как эта. Он увидел человека, сидевшего на освещенной полянке. Богарев окликнул его. Это был Игнатьев.

— Что вы здесь делаете, товарищ Игнатьев? — спросил Богарев.

— Спать не могу, товарищ комиссар, ночь-то какая!

Богареву нравился этот сильный и веселый человек, он видел и знал то влияние, которое имеет Игнатьев на красноармейцев. Он слышал, как бойцы передавали друг другу шутки Игнатьева, рассказывали об его веселой, хитрой храбрости. Там, где сидел Игнатьев, всегда собирался кружок в пять-десять человек.

— О чем думаете, товарищ Игнатьев? — спросил Богарев.

— Товарища своего вспомнил, Седова. Война началась — тоже лунные ночи были. Он мне сказал: «Вот, Игнатьев, ночь какая, а много ли мне осталось на свете быть, не знаю». Вот и нет его уже.

— И Бабаджаньяна нет, — сказал Богарев и вздохнул.

Богарев заговорил, и Игнатьеву было интересно слушать его. Он не любил бесед, на которых объясняли.

«Чего меня учить, — думал он, — я сам все знаю». Да и обычно получалось, что не ему рассказывали, а он сам

заставлял себя слушать, — много он знал всяких историй, случаев, воспоминаний, собранных от старых солдат, дедов, старух. Какая-то страсть была у него собирать все эти рассказы, внешне простодушные сказки. Он их запоминал легко, память у него была огромная. А так как обладал он и живой фантазией, он переделывал их сам и рассказывал товарищам одновременно смешные и страшные, хитроумные истории про красноармейца, с которым Гитлер задумал воевать. В эту ночь говорил комиссар, а Игнатьев слушал. И он не забыл ни слова из этого ночного разговора.

— А ведь правда, товарищ комиссар, — сказал он, — и я словно другим человеком на этой войне стал. Идешь — каждую речку, каждый лесок до того жалко, сердце заходится. А жизнь нелегкая у народа была, да ведь тяжесть своя — наша. Земля наша, производство наше и жизнь наша, нелегкая жизнь, а наша. Как же это отдавать? Я теперь часто задумываться стал. На войну шел — эх, думаю, все нипочем. А теперь во мне сердце горит. Иду сегодня, а на поляне деревцо шумит, беспокоится, — так меня пропекло, аж перекосило всего. Неужели, думаю, оно, махонькое, к немцу отойдет? Нет, говорю ребятам, не будет этого. Мой друг один, Родимцев, говорит: горько ли, тошно — стоять надо, за свою землю воюем. Мало что бывало — и жрать нечего, а моя она, жизнь.

Свет луны померк, темная пелена заволокла небо. Вскоре пошел мелкий, словно холодная пыль, дождь.

Богарев натянул повыше на плечи шинель, покашлял и сказал обычным своим неторопливым, глуховатым голосом:

— Товарищ Игнатьев, разведке дан приказ разгромить немецкий обоз. Пойдет новый отряд, в него будут набраны самые нестойкие люди из роты Мышанского. Их надо подучить, поднять настроение. Вас я прикомандировываю к этому отряду. Пусть видят, как можно бить немцев.

— Есть, товарищ комиссар, — ответил Игнатьев.

«Ну, вот и кончилась лунная ночь», — подумал Богарев. И так же подумал Игнатьев, отходя от комиссара.

Вскоре Богарев разбудил Мышанского. Богарев сказал ему:

— Вы отправитесь через час с отрядом громить немецкий обоз.

— От кого я могу получить директиву? — спросил Мышанский.

— Директиву получил лейтенант Кленовкин, командир отряда. Вы пойдете на эту операцию рядовым бойцом, с винтовкой. С сегодняшнего дня вы больше не командуете ротой.

— Товарищ комиссар, — сказал Мышанский, — разрешите, я объясню.

— Я хотел вас предупредить вот о чем, — перебил его Богарев: — бойтесь не немцев, бойтесь проявить нестойкость. Объяснений с вами больше не будет, запомните это.

XVIII

Пастух Василий Карпович шестые сутки шел с Леной Чередниченко по деревням, занятым немцами. Мальчик сильно устал, сбил себе в кровь ноги. Он спрашивал у старика: «Почему кровь идет из ног, ведь мы все время идем по мягкой дороге?» Кормились они в пути хорошо, бабы давали им вдосталь молока, хлеба, сала. В последнюю ночь они остановились ночевать в хате, где жила женщина с двумя дочерьми. Обе девушки учились в десятом классе, они учили алгебру, геометрию, знали немного французский язык. Своих дочерей мать одела в рваное тряпье, руки и лицо у них были запачканы землей, волосы нечесаны и спутаны. Делалось это для того, чтобы немцы не обидели красивых девушек. Девушки смотрелись все время в зеркало и смеялись. Им все казалось, что через

день или два кончится эта дикая, страшная жизнь, что староста им вернет отобранные по приказу немецкого коменданта учебники геометрии, физики, французского языка, что их перестанут гонять на работы; шел слух о том, что толпы женщин, девушек идут по дорогам в дальние лагеря на работы, что красивых отбирают, и они исчезают без вести, что в лагерях держат отдельно мужчин и женщин, что запрещают по всем украинским деревням свадьбы.

Девушки слышали это, но в душе не верили. Слишком диким казалось все, о чем говорили люди. Они ведь собирались осенью поехать в Глухов, поступить в педагогический техникум. Они читали книги, умели решать квадратные уравнения с двумя неизвестными, они знали о том, что солнце представляет собой звезду, находящуюся в стадии потухания, и что температура его поверхности около 6000 градусов. Они читали «Анну Каренину» и на испытаниях по литературе писали сочинения «Лирика Лермонтова» и «Характеристика Татьяны Лариной». Их покойный отец был бригадиром, полеводом, заведывал хатой-лабораторией и получал письма из Москвы от академика Лысенко. И девушки, смеясь, поглядывали на тряпье, прикрывавшее их, и утешали мать:

— Не плачьте, мамо, не може цего бути, шо стало. Адольф згыне, як Наполеон згынув.

Они узнали, что Леня учился в киевской школе в третьем классе, и устроили ему экзамен: задавали ему задачи на умножение и деление.

Говорили они все шопотом и поглядывали на окна, — невольно казалось, что при немцах в деревнях детям нельзя говорить об арифметике. И ту бумажку, на которой Леня решал задачку, одна из девушек, кареглазая Паша, мелко-мелко изорвала и бросила в печку.

Лене постелили на полу. Он, несмотря на усталость, не мог уснуть. Разговор о школе очень взволновал его.

Ему вспомнился Киев, комната с игрушками, вспомнилось, как отец научил его играть в шахматы и по вечерам иногда приходил к нему, и они играли. Леня хмурился, морщил нос и, подражая отцу, поглаживал подбородок. А отец смеялся и говорил: шах и мат. А рядом с этими воспоминаниями возникали другие: о пожаре, об убитой девочке, которую они видели в поле, о виселице на площади в еврейском местечке, о гудении самолетов. Они мешали друг другу, эти воспоминания; то казалось, не было школы, товарищей, дневного кино на Крещатике, то думалось, сейчас подойдет к его кровати отец и погладит по волосам и чувство покоя, счастья наполнит все его утомленное маленькое тело. Отец для Лени был великим человеком. Он безошибочным детским чутьем ощущал духовную силу отца. Он подмечал то уважение, которое проявляли к отцу товарищи военные, он замечал, как все они, сидя за столом, умолкали и поворачивали головы, когда раздавался спокойный медленный голос отца. И этот одиннадцатилетний мальчик, беспомощный, бредущий наугад среди горящих деревень, запруженных наступающими войсками немецкой армии, ни на секунду не поколебался в своих представлениях: отец был таким же сильным, мудрым, каким помнил он его в мирные времена. И когда он шел полем, когда засыпал в лесу или на сеновале, он ясно знал, что отец идет ему навстречу, что отец ищет его. Он засыпал, а до слуха его доносился негромкий голос Василия Карповича, беседовавшего с хозяйкой.

— Сорок деревень прошел,—говорил старик,—насмотрелся порядка, что смотреть не хочется. А были у нас такие — ждали: порядок, кажут, будет земельный. В одной деревне коров по ведомости доить велели: ходят солдаты два раза в день и молоко отбирают. Вроде как бы в аренду коров сдали колхозникам. А коровы колхозников. В другой — всем мужикам сапоги приказали

сдать. Ходите, колхозники, босы. Старостов всюду поставили. А эти старосты над народом катуют, а сами не хозяйева: от страху не спят, тоже немцев боятся. Народ весь сам не свой стал: так сделаешь—нехорошо, инше сделаешь—и тоже плохо. «Насчет земли, — немец говорит, — это вы забудьте». Сколько сел прошел — ни разу пивень не пропел, ни одного не оставили, всем чисто шен пооткручивали. Старика одного застрелили, — он все на крышу лазил, смотрел на восход, не идут ли наши. А немец его и пристрелил. Нечего, каже, на восход смотреть. Понавешали дощечек; а что на их написано, — неизвестно. Стрелы, стрелы всюду показывають. А бабы жалуются: день и ночь приказуют печь топить, варят да жарят. А лопочут, лопочут — бабы прямо злые, ни слова, говорят, по-ихнему не поймешь, а все лопочут, как дурные: «Матка, матка». Женщин старых не стыдятся — голыми перед ними ходят. Кошки, говорят бабы, в хатах от них не держатся. Старуха мне одна говорила, — это дело страшное, если кошка из дому выходит, кошки при нем в доме не сидят; кошку ни огнем, никакой силой из дому не выживешь, а тут сами в огород уходят. И вот смотрю я и бачу: вроде как бы порядок, а это не порядок, а смерть наша. Брат на брата смотреть боится. А в одной деревне собрал мужиков и чисто так по-украински объясняет: «Вас, говорит, кто угнетал, — русский, еврей, вот, кажет, враг для Украины». А старики стоят, молчат, а обратно шли, говорят: «Это мы уж слышали, все нас обижали, вот только немец пришел добро нам делать». А в одном селе согнали мужиков сортир для генерала ставить; так гоняли их за сорок верст кирпич возить, чтобы все как полагается было. Мне старик казал один: пусть лучше удавят, а я такой работы больше сполнять не буду. Шопот такой стоит, в глаза друг другу не смотрят, душевности никакой. Как со скотом на ферме колхозной — то списують, то переписують, то строят по ран-

жеру, то гонят... Скоро клеймы ставить будут, на каждого повесят дощечку и номерок поставят...

Леня проснулся и сразу же сказал:

— Дедушка, нам, верно, пора итти.

Старик не отозвался. Леня быстро огляделся; Василия Карповича не было в хате, его мешочек лежал на лавке. Мальчик спросил:

— А где дедушка?

У окна сидела хозяйка, смотрела на своих спящих дочерей, и слезы обильно текли по ее щекам.

— Забрали, проклятые, ночью забрали, — сказала она, — сегодня деда забрали, завтра дочек мсих заберут, пропали мы, пропали.

Мальчик вскочил.

— Кто увел, куда увели? — спрашивал он всхлипывая.

— Кто ж увел, известно, — сказала хозяйка и начала ругать немца: — Чтоб у него очи повылазили, чтоб он не дождался своих детей увидеть, чтоб их всех холера передунула, чтоб у него руки и ноги поотсыхали.

Потом она сказала:

— Ты не плачь, хлопчик, мы тебя не выгоним, останешься у нас, будем тебя годувать.

— Нет, не хочу я оставаться, — сказал Леня.

— Куда ж ты пойдешь?

— Пойду к папе.

— Та подожди ты, вот самовар вскипит, поснидаешь с чами, тогда побачим, куда тебе итти.

Леня испугался, что хозяйка не отпустит его. Он тихонько встал и подошел к двери.

— Та куда ж ты? — спросила хозяйка.

— Я на минуточку, — ответил он, вышел во двор, оглянулся на дверь и бросился бежать.

Он бежал по деревенской улице мимо черных семитонных грузовиков, доходивших своими высокими бортами до соломенных крыш, мимо походной кухни, у которой

повар разводил огонь, мчмо пленных красноармейцев с мертвенно-серыми лицами, сидевших без сапог, в окровавленном, грязном белье за плетнем колхозной конюшни. Он бежал мимо желтых стрел указателей, расписанных цифрами и черными готическими буквами. В его голове все спуталось, ему казалось, что он убегает от старухи-хозяйки и ее дочерей, решавших с ним арифметические задачи. Хозяйка будет греть самовар и заставит его с утра до вечера пить чай в запертой скучной хате.

Он добежал до ветряной мельницы и остановился. Дорога разветвлялась: одна желтая стрела показывала в сторону деревни, другая — по широкой дороге со множеством автомобильных и танковых следов. Леня пошел по узкой полевой дороге, на которую не указывали немецкие стрелы, к черневшему вдаль лесу. По этой дороге давно уже не ездили, должно быть, весной еще проехала по ней крестьянская телега, и следы колес глубоко отпечатались в закаменевшей глинистой земле. Через час он подошел к опушке леса. Ему хотелось есть, пить, солнце изнурило его.

В лесу ему стало страшно: то, казалось, немцы следят за ним из-за деревьев, ползут из кустарников, то ему представлялись волки и черные дикие кабаны из зоологического сада, с длинными клыками и приподнятой верхней губой. Ему хотелось крикнуть, позвать, но он боялся выдать себя и шел молча. Иногда страх и отчаяние бывали так невыносимо остры, что он вскрикивал и бросался бежать. Он бежал, не разбирая дороги, пока не начинал задыхаться. Тогда он садился, отдыхал немного и снова шел дальше. А минутами его охватывала радостная уверенность: ему казалось, что отец идет своим широким спокойным шагом, зорко вглядывается в чашу и все ближе, ближе подходит.

В одном месте он нашел много ягод и принялся собирать их. Потом он вспомнил книжку про медведей, кото-

рые любят ходить на поляны собирать с кустов малину, и поспешил снова в лес.

Вдруг он увидел меж деревьев человека. Он остановился, прижавшись к толстому стволу, и всматривался. Человек стоял с винтовкой, поглядывал в ту сторону, где притаился мальчик,—очевидно, он услышал звук шагов. Леня смотрел, смотрел,—густая тень мешала разглядеть стоявшего. Радостный, пронзительный крик разнесся меж деревьев. Красноармеец вскинул винтовку, а мальчик бежал к нему и кричал:

— Дядя... дядя... Товарищ... Не стреляйте, это я, я, я!

Он подбежал к красноармейцу и, плача, схватился руками за его гимнастерку, вцепился в нее так, что пальцы даже побелели.

Красноармеец гладил его по волосам и, качая головой, говорил:

— Где же ты это так ноги разбил... Да ты не цепляйся, нешто я тебя в лес гоно? — Он вздохнул и добавил: — Может, и мой так по лесам один бродит. Да немец хоть два раза меня убей, я все равно в землю не лягу, пока он тут хозяйует. Встану.

Вскоре Леня лежал на постели из листьев, накормленный, напоенный, с обмытыми ногами. На нем был надет красноармейский пояс с пристегнутой настоящей кожаной кобурой, в кобуре лежал его жестяной паган. Вокруг сидели командиры, и он им рассказывал о немцах.

Подошел Богарев, и все встали.

— Ну, как аспирант? — спросил Богарев. — Скоро папу увидишь. Наверное, даже завтра. Вы, товарищи, дайте путешественнику отдохнуть.

— Нет, совершенно не хочу отдыхать,— сказал мальчик,— мы сейчас будем с капитаном в шахматы играть.

— Что, товарищ Румянцев, нашли себе нового партнера? — спросил Богарев.

— Да, вот приняли решение сыграть партию, — сказал Румянцев.

Они расставили фигуры, и Румянцев, нахмурившись, устался на доску. Так прошло несколько долгих минут.

— Почему же вы не делаете хода? — спросил мальчик. Румянцев резко встал, махнул рукой и быстро пошел в сторону леса.

— Ты не обижайся, мальчик, — сказал стоявший рядом сержант-артиллерист, — капитан комиссара своего вспомнил, всегда в шахматы играли.

А Румянцев шел, не оглядываясь, и бормотал:

— Не играть нам во веки веков, Сережа, не играть во веки веков.

XIX

Казалось, лагерь в лесу бездействовал. Но никогда, пожалуй, в своей жизни Богарев не уставал так сильно, как в эти дни подготовки к прорыву немецкой обороны. Он почти не спал ночи, мысль и воля его были напряжены. И напряжение его воли передалось всем — командирам и красноармейцам, всех охватило приподнятое настроение. Богарев беседовал с красноармейцами, командиры вели учения, между отдельными подразделениями наладилась телефонная связь, радист принимал каждое утро сообщения Информбюро, их перепечатывали на пишущей машинке в нескольких экземплярах, и связной развозил их на захваченном у немцев мотоцикле по лесу, раздавал бойцам. С утра несколько мелких отрядов уходили на разведку, выслеживали немцев, узнавали о движении войск и обозов. Обмундирование бойцов было приведено в порядок, дисциплина установлена необычайно строгая. За неотдачу приветствия накладывались суровые взыскания, рапорты принимались по форме, малейшее нарушение каралось. Наиболее необстрелянные, робкие люди постепенно приучались к опасным операциям: им поручалась борь-

ба с немецкими связными-мотоциклистами, поимка связистов, уничтожение одиночных грузовиков. В первый раз их отправляли в сопровождении опытных разведчиков, а затем предлагали идти самим, действовать в меру собственной силы и на собственный страх. Вечером Богарев беседовал с командирами, и его уверенность в грядущей победе, уверенность, выросшая на жестоком знании великих тягот первых месяцев войны, убеждала людей.

— Мне обидно, — сказал Румянцев, — что немцы все твердят: война молниеносная, и назначают смехотворные сроки — тридцать пять дней для занятия Москвы, семьдесят дней для окончания войны, а мы невольно утром, проспавшись, считаем — вот уже пятьдесят три дня воюем, вот шестьдесят один, вот шестьдесят два, а вот и семьдесят один. А они у себя, вероятно, говорят: ну что ж, не семьдесят, так сто семьдесят, эка беда. Ведь не в споре о календаре тут дело.

— Именно в споре о календаре, — сказал Богарев, — опыт почти всех войн, которые вела Германия, показал, что она не может выиграть войну длительную. Стоит посмотреть на карту, чтобы увидеть, почему немцы говорят о молниеносной войне. Молниеносная война — для них выгрыш войны. Длительная война — для них поражение.

Богарев оглядел командиров и сказал:

— Товарищи, сегодня должен вернуться боец, пошедший через фронт в штаб армейской группы. Я думаю, завтра мы выступим.

Он остался с Румянцевым, они легли рядом на траву и начали рассматривать карту. Разведка, производившаяся дни и ночи, принесла им много сведений.

Румянцев безошибочно определил слабое место в немецкой линии обороны.

— Вот здесь, — сказал Румянцев, — подход через леса, удобно нам будет накапливаться, пройдем лесом до самой

реки. Я вообще считаю, что если двигаться ночью, мы сможем перейти на наш берег без выстрела, проберемся незамеченными.

— Вот так так! — удивленно проговорил Богарев. — Как же вы, товарищ Румянцев, чудесный советский командир, культурный и умный артиллерист, можете помыслить такую ересь?

— Какую? — удивленно сказал Румянцев. — Какую ересь? Уверяю вас, что мы можем пройти ночью незамеченными. Тут очень жидко у противника, я ведь сам ходил, смотрел.

— Да, именно, именно в этом ересь.

— В чем же, товарищ комиссар?

— Да, черт возьми, регулярная часть находится в тылу у противника, а вы предлагаете ей ночью без выстрела проскользнуть. Упустить такую выгодную ситуацию? Да никогда! Мы не будем искать, где у немца пусто. Мы найдем, где у него сконцентрировано побольше техники, ударим с тыла, разгромим его и победоносно выйдем, нанеся ему жестокие потери. Как же иначе?

Румянцев долго пристально смотрел в лицо Богарева.

— Простите меня, — сказал он, — но вы, вы замечательный человек. Ей богу! В каком виде Мышанский привел в лес своих людей, а с вами здесь — как в образцовых лагерях стоим либо на наркомовских маневрах. В вас, товарищ комиссар, какая-то сила! Правильно, ведь можно ударить, а не проскальзывать.

— Это ничего, ничего, — проговорил задумчиво Богарев, — инстинкт самосохранения часто шутит на войне шутки с людьми. Нужно всегда помнить, что мы здесь для смертной битвы, и только для нее, что окопы роются, чтобы стрелять из них, а не прятаться, что в щели лезть надо для того, чтобы сохранить себя для страшной атаки, которая будет через час. А людям в какую-то минуту начинает казаться, что блиндажи для того, чтобы прятать-

ся, и только для этого... Эту философскую мысль можно выразить просто,—добавил он: — мы сидим в лесу в тылу у противника, чтобы внезапно напасть на него, а не для того, чтобы прятаться в лесу. Так ведь?

— Так, только так.

К Богареву подошел лейтенант Кленовкин.

— Товарищ комиссар, разрешите к вам,— сказал лейтенант Кленовкин и посмотрел по привычке на часы,— гость к нам пришел.

— Кто такой? — спросил Богарев, всматриваясь в лицо стоявшего рядом с Кленовкиным военного. И вдруг обрадованно вскрикнул: — Да ведь это товарищ Козлов, наш знаменитый командир разведроты!

— Старший лейтенант Козлов, прибыл к вам по распоряжению командира сто одиннадцатого полка майора Мерцалова,— громко, чрезмерно четко отрапортовал Козлов, и умные карие глаза его смеялись, как и в первый день их знакомства.

— Не столько прибыл, сколько дополз на брюхе,— негромко сказал он Румянцеву.

Козлов сел рядом с Богаревым. Он начал подробно передавать план совместного удара, разработанный Мерцаловым. Пункт за пунктом рассказывал он сложную операцию. И время сосредоточения, и атаки, и система сигналов для согласованного действия были разработаны во многих деталях. Он очертил место, где будут действовать наши танки, откуда ударят артиллерия и минометы, он сказал, как перерезана будет дорога, по которой немцы попытаются подводить резервы, и как будет бить дивизионная артиллерия по пути возможного отхода немцев. Он передал Богареву золотые часы и сказал:

— Это товарищ Мерцалов просил вас передать свои часы, а у него есть еще никелированные, они выверены секунда в секунду.

Богарев взял часы и повертел их в руке, потом сверил стрелки со своими ручными часами, его часы отставали на четыре минуты.

— Хорошо,— сказал он,— видно, недаром я наговорил Мерцалову столько нехороших слов.— Он рассмеялся и сказал про себя: «А может быть, и зря говорил. Тайна сия велика есть».

— Вы примете команду над нашим стрелковым батальоном,— сказал он Козлову,— а вам, товарищ Румянцев, надо будет, как только стемнеет, выступить, дорога ведь для тяжелых пушек нелегкая по десу.

— Дорога уже подготовлена, прорублена, кое-где устроены гати,— ответил Румянцев, у которого всегда все было заранее готово.

— Очень хорошо,— сказал Богарев,— вот одно нехорошо — курить нечего. У вас нет папирос, товарищ Козлов?

— Я ведь не курю, товарищ комиссар,— ответил виноватым голосом Козлов,— вы бы меня казнили, если бы слышали, как Мерцалов уговаривал меня взять для вас пару коробок папирос, а я отказывался, говорил: «Есть у них табак, есть».

— Эх, ты,— проговорил сердито Румянцев,— а мы здесь клевер курим.

— Да, это вы нам удружили,— сказал Богарев,— а какие папиросы давал вам Мерцалов?

— Голубая коробочка и белые горы с всадником; «Казбек», что ли.

— Ну, ясное дело, «Казбек»,— сказал Богарев,— как вам это понравится, товарищ Румянцев?

— Да уж, видно, не везет,— сказал Румянцев смеясь,— ты, вероятно, единственный командир-разведчик в армии, который не курит. И подлая судьба нас свела с тобой.

— Вы, товарищи, идите, дел много,— проговорил Богарев.

Козлов, отойдя на несколько шагов, спросил негромко:

— А что с Мышанским?

Румянцев рассказал.

— Странное дело,— задумчиво сказал Козлов,— я ведь Мышанского знаю давно, еще по мирному времени. Был ведь рабочим. И его всегда не любили за казенный оптимизм. Кричал «ура» и только. Всех врагов готов был шанками закидать. А потом пришли испытания—и скис сразу.

— Вполне понятно,— ответил ему Румянцев,— оптимизм его был фальшивым. Это, как наш комиссар говорит: перешел в свою противоположность.

— А комиссар как? — спросил Козлов.

— О, комиссар — силища! — сказал Румянцев и вздохнул.— А Невтулова Сережи-то нет моего, убили.

— Я знаю,— сказал Козлов,— хороший был парень Невтулов. Накрылся, бедняга.

Через некоторое время красноармейцам объявили о ночном выступлении. Начались сборы. Лица людей, как всегда перед серьезным делом, стали нахмурены и задумчивы. В полусумраке лиственной тени и заката они казались особенно темными, похудевшими, возмужавшими.

Этот лес казался людям обжитым, знакомым домом,— и стволы деревьев, под которыми шли долгие беседы, и поросшие мхом ямы, где так мягко и спокойно спать, и поскрипывание сухих ветвей, и шум листвы, и окрика часовых, стоявших за орешником, и малинник, и грибные места, и стук дятлов, и кукованье кукушек. Утром бойцов уж не будет в этом лесу. И многим предстояло встретить смерть и восход солнца на широком поле.

— На-ка, возьми табачницу на завтра,— в случае убьют меня, себе оставишь, жалко, вещь больно хороша,— сказал один земляк другому,— ведь резиновая

вещь, полторы пачки махорки входит, воды, сырости не боится.

— Убить и меня могут,— с обидой сказал второй.

— Да ты ведь в санитарях, а мне первому подниматься. Мой шанец больше.

— Ладно, давай. Вспоминать тебя буду.

— Только, смотри, в случае жив останусь, отдай. При свидетелях тебе даю.

Все стоявшие подле рассмеялись.

— Эх, покурить охота,— сказали сразу несколько голосов.

Богарев обходил людей, прислушивался к разговорам, шел дальше, снова слушал.

И спокойное, суровое сознание решившейся на смертный бой народной силы охватывало его. Он видел и чувствовал это.

Заходящее солнце пробилось меж стволов деревьев, на миг осветило загорелые лица бойцов, черные винтовочные стволы, поиграло на медных тельцах патронов, которые раздавал старшина, осветило белые бинты перевязок на раненых. И сразу, словно возникшая от этого вечернего солнца, послышалась песня. Её затянул Игнатьев. Чей-то голос подхватил, затем третий, четвертый. Люди, певшие песню, не были видны за деревьями, и казалось, сам лес пел печально, величаво...

К Богареву подошел красноармеец Родимцев.

— Товарищ комиссар, я к вам от бойцов посланный,— сказал он и протянул Богареву красный матерчатый кисет, вышитый зелеными крестиками.

— Что это? — спросил Богарев.

— Бойцы промеж себя решили,— сказал Родимцев,— как мы тут все без табаку терпим,— комиссару нашему собрать покурить.

— Что вы,— сказал Богарев дрогнувшим голосом,— последний табак. Не возьму, я ведь знаю, сам курильщик.

Родимцев сказал тихо:

— Товарищ комиссар, бойцы от чистого сердца к вам. Обидите их сильно.

Богарев посмотрел на серьезное, торжественное лицо Родимцева и молча взял легонький кисет.

— Да и табаку-то у всех с полстакана набралось,— в грузовик, где курево было, ведь аккурат немец пустил зажигательный по самому больному месту,— знал, куда стукнуть. А бойцы говорят: «Наш комиссар все ночи не спит, карту смотрит, вот тут-то главное ему покурить».

Богарев хотел поблагодарить Родимцева и вдруг почувствовал, что волнение сжало ему горло.

Впервые за время войны слезы выступили у него на глазах.

Песня печальная, медленная раздавалась все громче, точно ее раздувало заревом красного вечернего солнца.

XX

Мерцалов проснулся задолго до рассвета. В сумерках на столике блиндажа светлел белый алюминиевый котелок, лежала карта, на двух углах ее лежали ручные гранаты, чтобы не топорщились края новой бумаги. Мерцалов, глядя на новую карту, усмехнулся. Это начальник штаба вчера привез из топографического отдела штаба армии новые листы и торжественно сказал: — Товарищ Мерцалов, по старой карте мы все время отмечали отступление. Я привез новую. Мы ее завтра обновим боем по прорыву германского фронта.— Они сожгли старую карту, замусоленную, стертую на сгибах, отразившую на своей поблекшей, тряпично-мягкой бумаге кровавые бои отступавшей Красной Армии. Она все видела, старая сгоревшая карта, на нее смотрел Мерцалов на рассвете 22 июня, когда фашистские бомбардировщики перелетели границу и появились над спавшими артиллерийскими и стрелковыми полками, она видела дожди и грозы, ее

обесцвечивало солнце в жаркие июльские полдни, ее трепал ветер на широких украинских полях, на нее поверх головы командиров смотрели высокие старые деревья в белорусских лесах.

— Что ж,— сказал Мерцалов и неодобрительно посмотрел на белый котелок. «Красить их надо в зеленый цвет, а то демаскируют бойца,— то солнце на нем заиграет, то белеет среди ночи»,— подумал он.

Мерцалов достал из-под нар свой чемоданчик и раскрыл его. Пахнуло смешанным запахом сыра, копченой колбасы, одеколона, душистого мыла. Каждый раз, раскрывая чемодан, Мерцалов вспоминал жену, укладывавшую его вещи в день нападения немцев.— Что ж,— снова сказал Мерцалов и достал пару белья, носки, чистые портянки. Он зажег свечу и побрился. После этого он вышел наверх, оглянулся.

До рассвета оставалось около часа, восток был еще темн и спокоен, как запад. Широкая ровная мгла лежала над землей. Холодный темный туман стлался меж ветел и камышей на берегу реки. Нельзя было понять, облачно или ясно темное небо, спокойное и неподвижное, как глаз слепого.

Мерцалов разделся и, шумно дыша, прошел по холодному, влажному песку к воде.— Ох ты,— сказал он, ощутив телом воду. Он долго мылил голову, шею, уши, тер мочалкой грудь, темная ночная вода вокруг него поглубела от мыла. Помывшись, он надел чистое белье и вернулся в блиндаж. Он сел на нары и выбрал из пачки крахмаленный белый воротничок и подшил его к вороту гимнастерки. Потом он вылил из бутылки на ладонь остатки одеколона и смочил им щеки, попудрил бритые места, собрав пудру, сохранившуюся в рубчиках круглой коробочки. После этого он тщательно обтер щеки влажным полотенцем и начал неторопливо одеваться,— надел синие костюмные брюки, габардиновую гимнастерку, но-

вый ремень. Он долго чистил сапоги: сперва обтер их от пыли, навел глянец щеткой и суконкой. После чистки сапог он снова помыл руки, причесал влажные волосы, встал во весь рост, проверил револьвер и вложил его в кобуру, взял из чемодана пистолет и опустил в карман, переложил фотографию жены и дочери в карман гимнастерки.

— Ну, вот так,— сказал он, посмотрел на часы и разбудил начальника штаба.

Начинался рассвет. Холодный ветер зашумел в камышах, подвижной сетью лег на реку, пошел скорым шагом по широкому полю, легко перепрыгивая через окопы, противотанковые рвы, крутя песчаную пыль на холмиках блиндажей, гоня кусты перекати-поле на заграждения из колючей проволоки.

Солнце поспешно поднималось в небо, словно старый судья над огромным земным полем, не знающий волнений и страстей, готовый занять свое высокое привычное место. Темные ночные облака накалялись, как холодные глыбы угля, горели мрачным и тусклым кирпичным пламенем. Все в этом утре казалось зловещим, вещающим тяжкий труд битвы и смерть для многих. То было простое осеннее утро. По этой земле точно в такое же утро год назад шли позевывая приехавшие гостить в деревню рыболовы, и земля эта, и небо, и солнце, и ветер полны были для них мира, покоя и сельской красоты. Но в это лето все стало зловещим: и колодцы, таившие в своей прохладной зеленовато-синей тьме отраву, и стога сена, освещенные луной, и яблоневые сады, и белые стены хат, забрызганные кровью растрелянных, и тропинки, и ветер, шумящий в проводах, и опустевшие гнезда аистов, и баштаны, и красная гречка — весь чудный мир украинской земли, мокрой от крови и посолоневшей от слез...

Атака началась в пять часов утра. Черные штурмовые самолеты прошли над пехотой. Это были новые, недавно

прибывшие на фронт машины. Они шли низко, и пехота видела у них под крыльями притаившиеся, готовые к падению бомбы. Дымы поднялись над позициями немцев, и низкий перекатывающийся грохот прошел по всему широкому горизонту. Одновременно с первым бомбовым ударом самолетов открыли огонь батареи полковой артиллерии. Недавно пустой воздух, по которому лишь бежал утренний ветер, весь наполнился свистом и гулом разрывов, ветру стало тесно.

Мерцалову очень хотелось пойти с первым батальоном в атаку, но он сдерживал себя. В эти минуты он впервые внутренне почувствовал всю важность своего пребывания в штабе. «А ведь прав он был, чорт»,— сердито подумал Мерцалов, вспоминая свой тяжелый ночной разговор с Богаревым. Он каждый день вспоминал этот мучивший его разговор. И сейчас он чувствовал и видел, сколько нитей сражения собралось в его руках. Хотя каждый командир имел с вечера точную задачу и отлично знал, что ему нужно делать, хотя заявки на бомбардировщики, штурмовики и истребители были весьма точно разработаны, и командир батальона тяжелых танков майор Серегин больше часа просидел над картой с Мерцаловым, но с первых же минут после начала сражения энергично начал действовать противник, и это сразу потребовало быстрого, напряженного управления всей сложной и подвижной системой.

Уже два раза налетали советские самолеты на передний край немецкого расположения, и черный дым стоял над немецкими окопами и блиндажами. Но когда стрелковые части пошли вслед за тяжелыми танками в атаку, немцы открыли мощный огонь из всех артиллерийских, минометных батарей, противотанковых пушек. Командиры батальонов звонили Мерцалову, говорили, что пехота залегла — огонь противника настолько плотен, что продвижение невозможно. Мерцалов поднялся, отстегнул ко-

буру револьвера: надо поднимать пехоту и во что бы то ни стало прорваться вперед. Это казалось самым простым для человека, не знавшего страха: кинуться в боевое пекло. На мгновение он почувствовал злое разочарование: неужели зря он так тщательно и долго готовил сегодняшнее сражение, неужели зря он впервые с профессорской тщательностью разрабатывал детали готовящегося боя?

— Нет, товарищ начальник штаба, — сказал он сердито, — война была и будет искусством не бояться врага и смерти. Надо поднимать пехоту.

Но он не ушел из штаба. Снова зазвонил телефон, за ним тотчас же второй.

— На противника, сидящего в окопах, слабо воздействуют удары с воздуха, он сохраняет свою огневую силу, — говорил Кочетков, — пушки и минометы бьют беспрерывно.

— Танки встречают сильный огонь артиллерии, пехота залегла, а танки оторвались, ушли вперед, у двоих подбиты гусеницы, — докладывал Серегин. — Считаю дальнейшее продвижение нецелесообразным.

И снова зазвонил телефон: представитель военно-воздушных сил спрашивал об эффекте бомбежек и не нужно ли изменить систему налетов, так как летчики докладывают: пехота не продвигается и артиллерия противника сохраняет активность. А в это время в штаб пришел подполковник, представитель артиллерийского управления, — у него было несколько важных, требующих немедленного решения, вопросов.

Мерцалов закурил папиросу, нахмурившись, сел за стол.

— Повторим налеты на пехоту? — спросил начальник штаба.

— Нет, — ответил Мерцалов.

— Снова предложим пехоте двигаться вперед, передо-

вые подразделения залегли в трехстах метрах от противника. Еще сто метров можно взять рывками, — сказал начальник штаба.

— Нет, — ответил ему Мерцалов.

Он задумался так глубоко, что не заметил, как вошел в штаб дивизионный комиссар Чередниченко. Не посмотрел на него и начальник штаба. Дивизионный комиссар прошел мимо вытянувшегося часового в блиндаж; сел в темном уголке возле нар, где обычно сидели посыльные, и, посапывая трубкой, спокойно и внимательно слушал телефонные разговоры, наблюдая за Мерцаловым и начальником штаба.

Чередниченко приехал к Мерцалову, минуя командный пункт Самарина. Он хотел поспеть к началу атаки и, зная, что Самарин обязательно побывает на месте проведения важной операции, решил встретиться с командармом на передовой.

Мерцалов смотрел на карту, и его обострившаяся до боли мысль видела сражение как единое целое, где, подобно переменному магнитному силовому полю, мгновенно то возникали мощные узлы напряжения, то ослабевали и меркли. Он увидел, раскрыл стержень обороны противника, стержень, разрушавший своим острием переменчивые напряжения атаки. Он увидел, как отдельные слагаемые, накладываясь одно на одно, лишь сосуществовали механически, не интерферируя подобно усиливающим друг друга колебаниям с одинаковой длиной волны. Мозг его воссоздал в динамической проекции все многочисленные составляющие этого сложного боя. Он мерил упорную живую силу с ревом идущих самолетов, рокочущих тяжелых танков, огневое давление легких и тяжелых батарей, он ощутил потенциальную энергию войск Богарева, находившихся в тылу у противника. Его словно осветило всего внутри ярким радостным светом. Решение необычайно простое, математически неопровержимое, при-

шло к нему. Так ученый математик или физик в первой стадии исследования бывает подавлен сложностью и противоречивой тяжестью элементов, которые открывает он во внешне простом и обычном явлении; ученый с великим напряжением соединяет, пытается привести во взаимосвязь эти рассыпающиеся, противоречащие друг другу слагаемые; они выскальзывают, упрямые, быстрые, упругающиеся. И как награда за тяжкий труд анализа, за напряженные поиски решения, приходит ясная и простая мысль, снимающая всю сложность и дающая единственно правильное, восхитительное в своей неопровержимой простоте решение. Этот процесс называется творчеством. И нечто подобное переживал Мерцалов, решая сложную задачу, возникшую перед ним. Никогда, пожалуй, не испытывал он такого волнения и такой радости. Он сказал о своем плане начальнику штаба.

— Но ведь это находится в противоречии...— и начальник штаба перечислил, в противоречии с чем находится предложение Мерцалова.

— Что ж,— сказал Мерцалов,— помните, как сказал Бабаджаньян: есть одна норма, и эта норма — победа.

Он задумался на мгновение. Да, для того, чтобы принимать ответственное решение за штабной картой, иногда требуется больше сил и мужества, чем для подвига на поле битвы. Но Мерцалов нашел в себе это мужество, мужество ответственного решения. Он знал, что русский командир в тяжелом положении искал оправдания и выхода в том, что подвергал самого себя опасности смерти. Если после сражения у командира спрашивали ответа, он говорил: когда я видел, что дело плохо, я шел впереди всех. Что мог я еще сделать? Но Мерцалов знал: эта великая жертва не могла ничем исчерпать ответственности за исход сражения.

Дело было таково. Удары авиации не могли подавить немецкой пехоты, закопавшейся в землю. Немецкая ар-

тиллерия и минометы препятствовали движению танков, отрывали наступавшую пехоту от машин. Пехотные подразделения, прорвавшиеся вперед, ослабленные и подавленные огнем артиллерии и минометов, попадали под удар немецких автоматов и пулеметов. Артиллерия наша, превосходявшая немецкую почти вдвое, распыляла свои силы, ведя огонь по широкому фронту переднего края немецкой обороны. Мерцалов видел, что огневые усилия русских самолетов, танков, артиллерии и пехоты, равномерно распределенные по всем элементам немецкой обороны, лишь четвертую либо пятую часть своей мощи отдавали борьбе с немецкими пушками и минометами. Их-то и следовало сломить, в борьбе с ними был ключ к успеху на первом этапе атаки.

И Мерцалов, не повышая голоса, передавал указания полковой и приданной полку дивизионной артиллерии, тяжелому танковому батальону, штурмовикам, бомбардировщикам и истребителям, по заявкам полка бомбившим и обстреливавшим немцев. Он приказал пехоте отойти и сосредоточиться в безопасных укрытиях для удара по тем местам, где были собраны главные силы немецкой артиллерии и минометов. Мерцалов знал, что немцы, надеясь на мощь пушек, в этих местах имели лишь небольшие пехотные загоны. Мерцалов знал, что силой огня, имевшегося в его распоряжении, он без труда подавит немецкую артиллерию. Он избрал для атаки самый сильный участок немецкого фронта, так как понял и ощутил возможность внезапно превратить его из сильного в самый слабый, подготовленный для прорыва.

Начальник штаба внутренне ахнул, слушая распоряжения Мерцалова. Пехоте сосредоточиться против артиллерийских и минометных батарей! Отойти без боя с занятых большой кровью участков!

— Товарищ Мерцалов,— сказал он,— неужели отходить пехоте?

— Тридцать пять лет я Мерцалов,— сказал командир полка.

— Товарищ Мерцалов, мы продвинулись на восемьсот метров вперед, неужели не закрепим?

— Приказ мной отдан, менять я его не намерен.

— Но ведь вас обвинят, вы ведь знаете,— тихо сказал начальник штаба,— как Самарин строг. А здесь, в самом начале атаки, да после недавнего нашего неудачного отхода, вы ведь ставите все на карту.

— Вот на эту карту, — сумрачно сказал Мерцалов, указывая на стол, — и бросьте, Семен Гермогенович, об этом говорить, я все знаю, не маленький, мне не до шуток.

У входа в блиндаж послышались громкие голоса. Мерцалов и начальник штаба быстро поднялись, к ним шел генерал Самарин.

Он посмотрел на расстроенное лицо начальника штаба и, поздоровавшись кивком головы, спросил:

— Ну как, прорвали?

— Нет, товарищ генерал-майор,— ответил Мерцалов,— еще не прорвал, но прорву.

— Где ваши батальоны? — отрывисто спросил Самарин.

Подъезжая к штабу полка, он встретил отходящие танки и пехоту, спросил лейтенанта, по чьему приказу они отходят.

— По приказу командира полка, Героя Советского Союза майора Мерцалова,— четко отрапортовал лейтенант.

И ответ этот привел Самарина в бешенство.

— Где ваши батальоны, почему они отходят? — страшным своим спокойствием голосом спросил Самарин.

— Отходят планово, по моему приказу, товарищ генерал-майор,— ответил Мерцалов и вдруг увидел, что Самарин, вытянувшись, смотрит на идущего к нему из затемненного угла блиндажа военного.

Он всмотрелся и тоже вытянулся: перед ним стоял член Военного Совета фронта.

— Здорово, здорово, Самарин, здравствуйте, товарищи,— сказал Чередниченко,— пришел, не поздоровавшись, к вам в блиндаж, спасибо, часовой пропустил, да и сидел тут на нарах, смотрел, как вы воюете.

«Все равно я прав,— подумал упрямо Мерцалов,— докажу».

Чередниченко поглядел на хмурого Самарина, на взволнованного начальника штаба и сказал:

— Товарищ Мерцалов!

— Слушаю, товарищ дивизионный комиссар,— сказал Мерцалов.

Мгновенье дивизионный комиссар смотрел прямо в глаза Мерцалову. И в этом спокойном и немногословном взгляде Мерцалов с удивлением и радостью увидел, что дивизионный понял, какой важный и торжественный момент происходит в боевой жизни командира полка.

— Товарищ Мерцалов,— медленно сказал дивизионный комиссар.— Я радуюсь за вас, товарищ Мерцалов. Вы руководите боем отлично, я уверен в вашем успехе сегодня.— Он мельком посмотрел на Самарина и сказал: — От лица службы спасибо вам, майор Мерцалов.

— Служу Советскому Союзу,— ответил командир полка.

— Ну, что ж, Самарин, поехали? — сказал Чередниченко, обнимая генерала за плечо.— Разговор у нас есть. Да и надо людям работать дать, а то понаехало начальство, они стоят на вытяжку, а дела у них много, пусть по работают.

Выходя из блиндажа, он подошел к Мерцалову и спросил негромко:

— Ну, как ваш комиссар, майор? — и, улыбаясь, с

всем тихо добавил: — Разок поругались с ним? Верно говорю? Было?

И Мерцалов почувствовал, что Чередниченко словно присутствовал при ночном чаепитии, словно напомнил о понятой им тайной связи между той ночью и сегодняшним днем.

XXI

Командир немецкой части, готовившейся к форсированию реки, полковник Брухмюллер, принимал у себя приехавшего накануне вечером представителя генерального штаба полковника Грюна. В утро внезапно начавшегося контрудара русских они завтракали и пили кофе в штабе, разместившемся в помещении школы. Брухмюллер и Грюн давно знали друг друга и допоздна беседовали о фронтовых и внутренних делах. Грюн занимал положение куда лучше и выше, чем фронтовой полковник, но он уважал хозяина. Брухмюллер был известен в германской армии как один из способных командиров, большой мастер артиллерийских боев. О нем как-то сказал генерал-полковник Браухич: «Этот Брухмюллер не даром носит свою фамилию». Очевидно, Браухич намекал на знаменитого однофамильца полковника, прославившегося умением организовывать массированные удары тяжелой артиллерии, предшествовавшие наступлениям на западном фронте в войне 1914 года. И худой Грюн, пренебрегая сложной системой градаций, которая существовала в армии и разрешала вести доверительные беседы лишь с людьми своего круга, откровенно рассказывал толстому лысому полковнику о настроениях высшего штабного офицерства и внутренних немецких делах. Рассказы эти сильно разволновали и огорчили Брухмюллера.

— Да,— сказал он с простотой, немного шокировавшей Грюна,— пока мы здесь воюем, там уже идет грызня. В конце концов эти интриги — промышленники, на-

ционал-социалисты, вся эта фронда, контрфронда в генералитете запутают дело. Надо ясно сказать: Германия — это армия, действующая армия — это Германия. Мы, и никто другой, должны все решать и определять.

— Нет,— сказал Грюн,— я вам завтра расскажу об обстоятельствах, не менее важных, чем успехи на фронте, которые с каждым днем становятся сложнее и нетерпимей для высшего офицерства. Бывают дни, когда обстановка становится прямо-таки парадоксальной.

Но он не продолжил на утро беседы, так как русские начали внезапно наступать, и естественно, интерес обоих полковников приковался к событиям дня.

Связь работала превосходно, и Брухмюллер, сидя в штабе, имел полную картину происходившего сражения: радио, телефон каждые пять—шесть минут доносили о ходе боя.

— Русские обычно применяют фронтальное давление, равномерно распределяя его по всей линии. Они это называют «бить в лоб»,— сказал Грюн, рассматривая карту,— и очевидно, сами видят неэффективность таких действий. В их приказах об этом часто говорится. Но приказы остаются на бумаге. В этой тактике проявляется национальный характер русских.

— О, характер,— сказал Брухмюллер,— у русских странный характер. Но, знаете, в боях мне никогда не приходилось понять характера командира, дерущегося со мной. Он расплывчат, туманен. Я не могу уловить, что он любит, какой вид оружия он предпочитает. Но меня это не совсем радует, я не люблю тумана.

— О, тут нечего ждать,— сказал Грюн,— мы им навязали всю сложность современной нашей немецкой войны. Самолеты, танки, десанты, маневр, комбинированные удары, динамическая трехмерная война.

— Кстати, на нашем фронте у них появилось изрядное количество тяжелых танков и новых самолетов. И осо-

бенно эффектны эти бронированные черные машины, «шварц-тодт» их прозвали солдаты.

— Да, но они мало что могут сделать, поглядите,— сказал Грюн, показывая донесение, только что отпечатанное писарем.

Брухмюллер улыбнулся.

— Надо откровенно скazać,— проговорил он,— дело здесь построено так, что и я и вы, столкнувшись с такой вот системой обороны, пришли бы в отчаяние.

И, навалившись широкой грудью на стол, он начал с увлечением рассказывать о своей системе огня:

— Это напоминает детскую игрушку, которой забавляется мой сын,— сказал он,— одно кольцо вдето во второе кольцо, а второе вдето в третье, а третье снова соединено с первым. Поди догадайся, как разъединить их, порвать их нельзя — они из стали. А ключ в том, что кольца рвутся в том месте, где они кажутся наиболее солидными и массивными.

Телефон и радио приносили из батальонов, рот, батерей хорошие известия: атака русских выдыхалась.

— Приходится удивляться, как им удалось пройти на восемьсот метров. В смелости я им не откажу,— сказал Грюн, закулив папиросу, и спросил: — Когда вы предполагаете форсировать реку?

— Через три дня,— ответил Брухмюллер,— я имею приказ.— Он внезапно пришел в хорошее настроение и погладил себя по животу.— Что бы я делал, сидя в Германии с моим аппетитом, наверное погиб бы, поверите, мне уже хочется обедать,— сказал он,— а здесь у меня все отлично поставлено. Я воюю с первого сентября тридцать девятого года и теперь, ей-богу, могу быть консультантом по кухне в лучшем международном отеле. Я завел правило: есть национальные блюда тех стран, где воюю. В еде я космополит.— Он посмотрел искоса на Грюна — может ли худой человек, пьющий лишь черный

кофе и заказавший себе на обед бульон с гренками и нежирную отварную курицу, интересоваться такими вещами? Может быть, слабость к вкусной еде, слабость, которую Брухмюллер почитал в себе, покажется Грюну неприятной?

Но Грюн улыбаясь слушал его? ему нравился оживленный рассказ полковника о еде. Об этом будет смешно и интересно рассказать в Берлине.

И Брухмюллер посмеиваясь рассказывал:

— В Польше я ел зразы и фляки — это противно, но чертовски вкусно, клецки, кнышки, сладкие мазурки, пия старку; во Франции — всевозможные рагу, легюмы, артишоки, тонкие жаркие, но и попил я там поистине императорских вин; в Греции от меня воняло чесноком, как от старой торговки, и я боялся ожечь себе нутро непомерным количеством перца. Ну, а здесь поросята, гуси, индюки, — очень вкусная штука, в-а-ре-ники — это вареное белое тесто, начиненное вишнями либо творогом и залитое сметаной. Вы сегодня обязательно попробуйте.

— О, нет, нет, — смеясь сказал Грюн и поднял, как бы отстраняя опасность, руку, — я хочу увидеть Берлин, детей и жену.

А в это время адъютант сообщил, что русские танки отходят, прикрывая своим огнем отступление пехоты, что авиация русских больше не появляется над расположением пехоты, что артиллерия всех калибров прекратила огонь.

— Ну, вот вам пресловутый туман, — сказал Грюн.

— Нет, это не то, — наморщив лоб, ответил Брухмюллер. — Я знаю упорство Ивана.

— Все еще верите в туман? — насмешливо спросил Грюн.

— Я верю в наше оружие, — ответил Брухмюллер, — возможно, они успокоились, возможно, что нет. Скорее,

что нет. Но для меня важно не это, а вот что,— и он ударил тыльной частью ладони по карте.

Там жирным фаберовским карандашом были гроздьями наведены меж зелени леса и голубизны вод красные кружки, обозначающие германские артиллерийские и минометные позиции.

— Вот во что я верю,— повторил Брухмюллер.

Он сказал эти слова медленно и значительно. И Грюну показалось, что Брухмюллер имеет в виду не только военные усилия русских, но и предмет их ночных разговоров.

Через пятнадцать минут телефон известил, что русские снова проявляют активность.

Первый удар бомбардировщиков был нанесен по батареям тяжелых пушек. Тотчас за этим пришло сообщение, что русские тяжелые танки нащупали расположение батальонных минометов и открыли огонь из семидесятипятиммиллиметровых орудий. И сразу же за этим спокойный голос майора Швальбе сообщил, что он со своими столетимиллиметровыми пушками попал под шквальный огонь русской тяжелой артиллерии.

Брухмюллер сразу понял, что русские усилия распределены не равномерно вдоль фронта, а имеют направленность. И он словно ощутил сильный тревожащий укол острия нащупавшего его оружия. Он настолько был связан прочно и привычно с войсками, что это чувство приобрело физическую реальность, и он невольно провел рукой по груди, желая отстранить мешающее и беспокоящее ощущение. Но ощущение не исчезло, а продолжалось.

Едва улетели русские бомбардировщики, как над артиллерийскими позициями появились истребители. Командиры батарей сообщали, что не могут вести огня: прислуга прячется в укрытия.

— Вести огонь во что бы то ни стало, с максимальной интенсивностью,— приказал полковник.

Он сразу весь напрягся. Чорт побери, ведь недаром он

носит фамилию Брухмюллер. Недаром его знают и уважают в армии. Он был действительно опытным, решительным и умелым военным. Еще в академии о нем говорили преподаватели как о представителе подлинного боевого германского офицерства.

Вся большая налаженная, смазанная и отлично действующая штабная машина словно дрогнула от порыва его воли и сразу заработала. Зазвонили телефоны, адъютант и младшие офицеры деловито ходили от передатчиков полевого телеграфа в комнату полковника, безмолвно тараторил радиопередатчик, связные мотоциклисты, торопливо хлебнув русского шнапса, поплотней надвинув пилотки, выезжали из школьного двора, пыля, мчались по дорогам и тропинкам.

Брухмюллер лично говорил по телефону с командиром батареи.

Едва ушли русские истребители, как снова появились над артиллерийскими позициями пикирующие бомбардировщики. Брухмюллер понял: русский командир задался целью сломить и подавить его главные средства огня. Орудие за орудием выходило из строя. Две батареи минометов вместе с прислугой погибли. Русский методически нащупывал одну огневую позицию за другой.

Брухмюллер вызвал пехотный батальон, стоявший в резерве, но через несколько минут ему сообщили, что черные русские штурмовики налетели на бреющем полете на подходившую к фронту колонну грузовиков и засыпали ее снарядами и пулеметными очередями. Брухмюллер приказал бросить грузовики и двинуться пешком. Но и это оказалось невозможным: русские открыли сосредоточенный огонь по дороге и сделали ее непроходимой.

Впервые полковник испытал чувство связанности. Чья-то воля мешала ему, путала его распоряжения. Невыносимо было чувство, пусть даже мимолетное, преимуще-

щества над собой военного человека по ту сторону фронта.

Ему внезапно вспомнилось, как год тому назад, когда он был во Франции, ему захотелось присутствовать при необычайно сложной операции, которую производил приехавший на фронт знаменитый профессор, мировой авторитет по хирургии мозга. Профессор ввел в нос спящему пациенту странный тонкий и гибкий инструмент, нечто среднее между иглой и ножом, и быстрыми беглыми пальцами вгонял эту блестящую штуку все глубже и глубже в нос больному. Брухмюллеру объяснили, что пораженное место находится где-то повыше затылочной кости, и профессор ведет свой гибкий инструмент к больному месту между черепной коробкой и головным мозгом. Брухмюллера поразила эта операция. И сейчас ему показалось, что тот воюющий против него имеет такое же острое, прислушивающееся лицо, такие же быстрые пальцы, как этот врач, ведущий в темноте свой стальной инструмент среди драгоценных нервных узлов и нитей тонких сосудов.

Полковник раздраженно позвал адъютанта.

— Зачем вы здесь, вы ведь артиллерист, вы офицер, вы лично мне передали сообщение о гибели трех командиров батарей и героической смерти майора Швальбе, моего лучшего боевого помощника. Ваш воинский долг требует, чтобы вы сами попросили меня откомандировать вас на линию огня. Или вы думаете, что ваши военные обязанности ограничиваются расстрелами старух и мальчишек, заподозренных в симпатиях к партизанам?

— Господин полковник,— с обидой сказал адъютант, посмотрел на Брухмюллера и проговорил поспешно:— Господин полковник, имею честь просить вас отправить меня на боевую линию.

— Ступайте,— сказал Брухмюллер.

— Что происходит? — спросил Грюн.

— Происходит то, что этот русский, наконец-то, проявил свой характер,— ответил Брухмюллер.

Он снова склонился над картой. Противник спокойно развивал игру. Брухмюллер теперь видел его лицо. «Пехота русских перешла в атаку на участке наших артиллерийских позиций»,— сообщила лента полевого телеграфа. В эту минуту вбежал офицер и крикнул:

— Господин полковник, с тыла бьет тяжелая артиллерия русских.

— Нет, я переиграю его,— убежденно сказал Брухмюллер.— Со мной ему не справиться.

Ветер хлопал незакрытыми окнами, поскрипывали двери, ветер шелестел большой учебной картиной на стене. Коричневая мохнатая голова человеческого пращура на ходившей от ветра бумаге словно производила упрямые жевательные движения своими мощными челюстями.

XXII

Наблюдатели Румянцева сидели совсем близко от немцев. Лейтенант Кленовкин, лежа в кустах, видел, как два офицера, выйдя из подземного укрытия, пили кофе, курили. Он слышал их слова, видел, как телефонист докладывал им, и один из офицеров, очевидно, старший, передавал телефонисту распоряжения. Кленовкин с огорчением посмотрел на свои часы: зря он не изучал в свое время немецкого языка, ведь сейчас мог бы он от слова до слова подслушать немецкие разговоры. Гаубицы стояли на лесной опушке в тысяче метров от того места, где лежал Кленовкин. Там же сосредоточилась пехота. Раненых тоже подвезли поближе: они лежали на носилках и в грузовиках, подготовленные к тому, чтобы в любую минуту двинуться вперед вслед за бросившейся в прорыв пехотой.

Телефонист Мартынов, лежавший рядом с Кленовки-

ным, с особым интересом смотрел на немецкого телефониста. Его смешил и сердил этот немец, занимавшийся сходной с ним профессией.

— Хитрая морда, видать, пьяница, — шептал Мартынов, — а пусти его на наш аппарат — не поймет, немец-то.

Необычайное напряжение охватило всех, начиная от лежавшего рядом с немецким блиндажем Кленовкина и кончая ранеными и мальчиком Ленею, ожидавшими в полутемном лесу начала атаки. Все слышали канонаду, стрельбу автоматов и пулеметов, разрывы воздушных бомб. Часто над головами красноармейцев с ревом пролетали краснозвездные самолеты, делавшие развороты к немецким позициям. Большого труда стоило людям сдерживать себя — не помахать руками, не крикнуть, когда машины переходили в пики над линией немецких окопов.

Богарев волновался не меньше других. Он видел, что и Румянцев и бесстрашный смешливый Козлов напряжены и измучены ожиданием. Прошли условленные этапы расписанной заранее атаки. Прошло условленное время совместного удара, а сигнал все не подавался. Когда шум боя усиливался, командиры прерывали разговор и вслушивались, всматривались. Но нет. Мерцалов не звал их.

Необычайно и странно воспринимался на слух этот бой войсками, находившимися в тылу у немцев. Все звуки проходили с обратным знаком: разрывы снарядов были русскими, орудийные залпы шли от немцев, над головой иногда свистела залетная пуля, и это был свист русских пуль, а треск автоматов и пулеметные очереди немцев воспринимались особенно зловеще и тревожно. И эта необычность, перевернутость звуков боя тоже волновала людей.

Красноармейцы лежали за деревьями, в кустах, в высокой не снятой конопле и слушали, напряженно всматривались в ясный утренний воздух, лишь местами темневший от дыма и земной пыли.

О, как хороша была в эти минуты земля! Как благостны казались людям ее тяжелые складки, желтые пригорки, овражки, поросшие репейником и пыльными лопухами, лесные ямы. Какой чудесный запах шел от земли — лиственной прели, сухой пыли и влажной лесной сырости, запах мирного праха и грибов, сухих ягод и многожды превшего и вновь высухавшего хвороста. Ветер приносил с поля теплый и печальный запах вянущих цветов и сохнувших трав; в полутьме леса, внезапно пронзаемой солнечным светом, вдруг пыльной радугой заблестит увлажненная росой паутина, словно дохнет чудо спокойствия и мира.

Вот лежит, уткнувшись лицом в землю, Родимцев. Спит он, что ли? Нет, его глаза внимательно смотрят в землю, на стоящий подле куст шиповника. Он шумно дышит, втягивает в себя запах земли. Он смотрит с интересом, жадно и почтительно на дела, происходящие вокруг него: муравьи колонной идут неясным для человеческого глаза трактом, волокут сухие травинки, палочки. «Может быть, у них тоже война, — думает Родимцев, — вот и ползут колонны мобилизованных на строительство рвов и укреплений. Или этот хозяин ставит себе новый дом, и тянутся плотники, штукатуры на работу...»

Огромен мир, который видят его глаза, чует ухо, втягивают с воздухом ноздри. Аршин земли на опушке леса, куст шиповника. Как велик этот аршин земли. Как богат этот отцветший куст! По сухой земле тонкой молнией прошла трещина, муравьи проходят по мосту, в строгом порядке один за другим, а по ту сторону трещины терпеливо выжидают встречные. Божья коровка, толстая баба в красном сарафане, мечется, ищет перехода. Ох ты, полевая мышь блеснула глазом, привстала на задние лапки и прошуршала среди травы, словно и не было ее здесь. Подул ветер, и трава гнется, пригибается, каждая по-своему, одна покорно-быстро ложится к земле, другая

упрямо, сердито дрожит, топорщится своим бедным тощим колосом — воробьиным житом. А на кусте шевелятся ягоды шиповника — желтые, красноватые, закаленные солнцем, словно глина огнем. Давно уже, видно, брошенная хозяином паутина мотается на ветру, в ней запутались сухие листья, кусочки коры, в одном месте она обвисает под тяжестью свалившегося в нее жолудя. Она словно невод, выброшенный на берег после гибели рыбака.

А сколько такой земли, леса, сколько бесчисленных аршин, где жизнь. Сколько зорь краше, чем эта, были в жизни Родимцева, сколько летних быстрых дождей, сколько птичьего крика, прохладного ветра, ночного тумана. Сколько работы! А какие были славные часы, когда он приходил с работы, и жена сурово, но с душевной любовью спрашивала: «Обедать будешь?» и он ел мятую картошку с постным маслом и глядел на своих детей, на загорелые руки жены, в спокойной духоте избы. А сколько жизни впереди! Много ли? Ведь все может кончиться вот теперь, минут через пяток. И сотни красноармейцев лежат так — думают, вспоминают, смотрят на землю, на деревья, кусты, вдыхают запах утра. Нет лучше в свете этой земли.

Игнатьев задумчиво говорит товарищу:

— Слышал я, как-то два лейтенанта-зенитчика между собой говорили: вот война идет, а кругом сады, птицы поют, им вроде и дела нет до наших делов. Вот я все думаю. Это неправильно, не увидели лейтенанты сути. Война эта всей жизни коснулась. Ты возьми лошадей — чего только не терпят. Или, помню, стояли мы в Рогачеве: там все собаки по тревоге в погреба лезли, суку одну я заметил — собачат в щель прятала, а как налет кончится — обратно гулять выводила. Ну, а птица — гуси, куры, индюшки — разве они от немца не терпят? И тут, кругом, в лесу, я замечаю, птица пугаться стала — чуть

самолет летит, тучей поднимаются, галдят, шумят, мечутся. Сколько леса пропало! Сколько садов! Или вот я сейчас думал: идет бой на поле, мы тут залегли, под тысячу человек, — всех этих муравьев да комарей кувырком вся жизнь пошла. А если немец газ пустит, а мы ему в ответ — тут уж по всем лесам да полям жизнь перевернется — и до мышей, и до ежей, до всех война доберется, начнет козьявка да птица задыхаться, куда ей деться?

Он приподнялся и, глядя на товарищей, сказал с веселой печалью:

— Ох, и хорошо, ребята! Ведь только в такой день и поймешь: вот, кажется, тысячу лет бы так пролежал и не наскучило бы. Дышишь.

Богарев слушал бой. Внезапно гул разрывов стал затихать, советские самолеты больше не летали над немецкими позициями. Неужели натиск отбит? Неужели Мерцалов не смог надломить настолько оборону немцев, чтобы совместно с Богаревым начать общую атаку? Тоска сжала сердце Богареву. Мысль о возможной неудаче Мерцалова была невыносима, жгуче-тяжела. Он не взвидел света солнца, казалось, синее небо померкло, стало черным, он не видел широкой поляны, раскинувшейся перед ним, все исчезло — и деревья, и поля. Одна лишь ненависть к немцам заполнила его всего.

Здесь, на опушке леса, он ясно представлял себе ту черную силу, которая расползлась по народной земле. Земля народа! В мечтаниях Томаса Мора и утопиях Оуэна, в трудах светлых умов философов Франции, в записках декабристов, в статьях Белинского и Герцена, в письмах Желябова и Михайлова, словах ткача Алексеева выражалась вечная тоска человечества о земле равноимущих, о земле, уничтожившей вечное неравенство между работающим и дающим работу. Тысячи и тысячи русских революционеров погибли в борьбе. Богарев знал

их, как старших братьев, он читал о них все, он знал их предсмертные слова и письма, писанные матерям и детям перед смертью, он знал их дневники и тайные беседы, записанные увидевшими свободу друзьями, он знал их путь в сибирскую каторгу, этапы, где они ночевали, центры, где заковывали их в кандалы. Он любил этих людей и чтит, как самых близких и родных. Многие из них были рабочими в Киеве, печатниками в Минске, портными в Вильне, ткачами в Белостоке,— городах, теперь захваченных фашистами.

Богарев каждым дыханием своим любил эту землю, завоеванную в невиданных трудах гражданской войны, в муках голода. Землю, пусть еще бедную, пусть живущую в суровом труде, землю, живущую суровыми законами.

Он медленно проходил между залегшими бойцами, останавливался на мгновенье, говорил несколько слов, шел дальше.

«Если через час,— подумал он,— Мерцалов не даст сигнала, я подниму людей в атаку, самостоятельно проведу немецкую оборону... Ровно через час».

— Мерцалов должен иметь успех,— сказал он Козлову,— иначе не может быть, иначе я ничего не видел и ничего не понял.— Проходя мимо бойцов, он заметил Игнатьева и Родимцева, подошел к ним, присел на траву. Ему казалось, что в этот миг они говорили и думали о том же, что и он.

— О чем вы тут? — спросил он.

— Да вот про комарей рассуждаем,— с виноватой усмешкой сказал Игнатьев...

«Вот оно что,— подумал Богарев,— неужели мы о разных вещах думаем в этот час?»

Сигнал увидели десятки людей — это были красные ракеты, склоненные от русских линий к немецким. Сразу же загремели выстрелы гаубиц. Тысяча людей замерла. Гром

гаубиц извещал немцев о том, что в их тылу притаились русские войска.

Богарев оглядел быстрым радостным взором поле, пожал руку Козлову, который шел на правом фланге, сказал ему:

— Дорогой друг, надеюсь на вас, — вобрал побольше воздуха в грудь и протяжно закричал: — За мной, товарищи, вперед! — И ни один не остался лежать на милой теплой летней земле.

Богарев бежал впереди, и неведомое чувство охватило все его существо — он увлекал за собой бойцов, но и они, связанные с ним в единое, вечное и нераздельное целое, словно толкали его вперед. Он слышал за собой их дыхание, ему передавалось горячее и быстрое биение их сердец. Это народ отвоевывал свою землю. Богарев слышал топот сапог, это была поступь перешедшей в атаку России. Они бежали быстрее и быстрее, а «ура» все росло, все крепло, поднималось все выше, разливалось все шире. Его услышали сквозь грохот битвы перешедшие в штыковую атаку батальоны Мерцалова. Его услышали крестьяне в далекой, занятой врагом деревне! Это «ура» слышали птицы, поднявшиеся высоко в небо. От этого «ур-р-а» дрожал синий воздух и замерла земля.

Немцы дрались отчаянно. Они мастерски и быстро приняли круговую оборону, открыли огонь из пулеметов. Но две волны русской пехоты шли навстречу одна другой. Стальные танки, закопанные в землю, загорелись от жаркого русского огня. Пылали штабные машины, превращались в обломки богатые обозы с награбленным добром. Неужели многие из этих людей недавно боялись в лесу громкого слова, неужели они прислушивались к крику ворон, принимая его за немецкую речь? Уже не только слышали батальоны Мерцалова «ура», раздающееся из немецкого тыла, уже видели они пыльные лица товари-

щей, покрытые тяжким потом боевого труда, уже различали они гранатометчиков и стрелков, уже различали они черные петлицы артиллеристов и звезду на фуражке лейтенанта Козлова. А немцы все еще сопротивлялись. Может быть, не только смелость руководила их упорством. Может быть, опьянявшая их вера в свою непобедимость не хотела покинуть немцев в минуту поражения? Может быть, солдаты, привыкшие семьсот дней побеждать, не могли и не хотели еще понять, что этот семьсот первый день стал днем их поражения.

Но прорвана и перерезана линия фронта. Вот первых два бойца встретились, обнялись, и в боевом шуме раздался голос.

— Браток, папиросочку, неделю не курил!

Вот подняли руки первые окруженные немецкие пулеметчики, вот закричал горбоносый веснушчатый автоматчик: «Рус, не стреляй!» и кинул наземь вдруг опостылевший ему черный автомат. Вот уж пошли, опустив головы, цепочки пленных, без пилоток, с раскрытыми на груди мундирами, недавно распахнутыми в пылу боя, с вывороченными карманами, доказывающими, что нет у солдат пистолетов и гранат. Вот уже вывели из штаба писарей, телеграфистов, радистов. Вот молча рассматривают суровые запыленные бойцы тело застрелившегося немецкого полковника. Вот уже считает быстрый взгляд молодого командира немецкие пушки и автоматы, машины и танки, брошенные на поле боя.

— Где комиссар? — спрашивали друг у друга бойцы.

— Где комиссар? — спросил Румянцев.

— Кто видел комиссара? — спросил Козлов, вытирая пот со лба.

— Комиссар все время был с нами, — говорили бойцы, — комиссар был с нами.

— Где комиссар? — спрашивал Мерцалов, ходя среди

обломков машин, весь запыленный, грязный, в изорванной пулями новой гимнастерке.

И ему отвечали:

— Комиссар был впереди, комиссар был с нами.

На затихавшем поле боя, безжалостно освещенном солнцем, среди сохнувших и черневших от зноя луж крови, среди дымно горящих танков и обгоревших скелетов машин проехал маленький зеленый броневик. Из него вышел Чередниченко.

— Товарищ член Военного Совета,— сказал ему Мерцалов,— вон в том обозе, который подъезжает,— ваш сын. Его вывел со своим отрядом Богарев.

— Леня мой,— сказал Чередниченко,— сын?...

Он посмотрел на Мерцалова, и Мерцалов не ответил, опустил глаза. Молча стоял Чередниченко, глядя на пылавшие вдали машины, выезжавшие из леса.

— Сын,— снова сказал он,— сын...

И, повернувшись к Мерцалову, спросил:

— Где комиссар?

Снова молчал Мерцалов.

Ветер прошумел над полем. Оттуда, где догорало пламя, шли два человека. Все знали их. Это был комиссар Богарев и красноармеец Игнатьев. Кровь текла по их одежде. Они шли, поддерживая один другого, тяжело и медленно ступая.

21 июня 1942 г.

А5606 Тираж 200.000 Зак. 411.
Подписано к печати 18/IV—45 г.

Типография газеты «Правда»
имени Сталина.
Москва, ул. «Правды», 24.

Цена 3 руб. 50 коп.

